

Николай Григорьев

ДВЕНАДЦАТЬ
ПОЛЕТОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



Annotation

Сборник рассказов, герои которых — рабочие, железнодорожники, матросы, солдаты — люди, которые совершают подвиги в труде и в бою. Время действия — Гражданская война, Великая Отечественная война и 1950-70-е годы.

- [Николай Григорьев](#)
 - [НАШ БРОНЕПОЕЗД](#)
 - [ГОЛОС ЛЕНИНА](#)
 - [САПЕР РЕБРОВ](#)
 - [ДВЕНАДЦАТЬ ПОЛЕНЬЕВ](#)
 - [СЛУЧАЙ НА МОРЕ](#)
 - [ПРОЗРАЧНЫЙ ДОМИК](#)
 - [ЗЕРКАЛЬЦЕ](#)
 - [ГОЛУБЧИК](#)
 - [КУСАЧКИ](#)
 - [ЧЕРНЫЙ СКАКУН](#)
 - [ПОЛТОРА РАЗГОВОРА \(рассказ диспетчера\)](#)
 - [КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ](#)
 - [ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮНОСТЬ](#)
 - [ТЫ ОПУСТИЛ ПИСЬМО](#)
 - [ДЯДЯ РУСАКОВ И МАЛЬЧИКИ](#)
-

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Николай Григорьев
ДВЕНАДЦАТЬ ПОЛЕНЬЕВ
Рассказы



Человек я бывалый и люблю встречаться с ребятами. Им интересно меня слушать, а мне интересно рассказывать.

Часто просят:

— Пожалуйста, что-нибудь про войну.

А мне — только вспоминать. Воевал я и в гражданскую, и в Великую Отечественную. Был артиллеристом, был сапёром. А среди боевых друзей у меня — и лётчики, и танкисты, связисты и пехотинцы, конники.

Так что только начать рассказывать военные истории — им и конца-края нет.

Порой даже устанешь, а ребята:

— Ещё расскажите... ещё!

Сами раскраснеются, глаза горят — ну как тут поставишь точку!

Однажды меня спросили:

— А что самое главное для солдата в бою?

Вопрос задали мальчики. А девочки, должно быть желая помочь мне, горячо добавили:

— Ну, самое-пресамое?

Ответить было нетрудно. Ещё давным-давно Александр Васильевич Суворов говаривал солдату: «Побеждать учись не числом, а умением».

Но ребята на этом не успокоились:

— Как это — умением? Расскажите.

Я рассказал о боевом мастерстве советского солдата, о его смекалке и решительности в бою.

Слышу — вздох. И тут же слова: «Век бы слушал про войну... Не ел бы, не пил бы, только бы слушал...»

Вздыхнул один — завздыхали и другие.

— Понимаю вас, ребята. Народ вы отважный. Но только ли на поле боя возможен подвиг? Сейчас мирное время, а подвигами наша жизнь полна.

Ребята поймали меня на слове:

— Расскажите про мирные подвиги?

— Ну, что ж, хорошо, — согласился я. И стал рассказывать о людях, чьими руками создаётся всё на свете. О знакомых мне модельщиках, слесарях-инструментальщиках — людях рабочего класса. Это мастера, художники своего дела — люди, влюблённые в металл, в дерево, в камень. И руки у них удивительные — всё могут. Сделают они и одежду, и трактор, и самолёт, и космический корабль, и детскую коляску. И оружие для Советской Армии тоже ведь делает рабочий.

Есть звание: Герой Советского Союза. Но есть звание и Герой Социалистического Труда. Оба отмечаются орденом Ленина и Золотой Звездой. Звания равноправны.

...Так я беседовал с ребятами в разные годы. И вдруг подумалось:

может быть, всё это интересно не только ленинградским ребятам, с которыми часто встречаюсь лично?

И собрал рассказанное мною в эту книгу.

Один из рассказов — «Двенадцать поленьев» — мне особенно дорог. Это случай, когда я впервые пережил чувства, которые потрясают человека в бою. А такое не забывается... Поэтому мне захотелось и книгу назвать: «Двенадцать поленьев».

НАШ БРОНЕПОЕЗД



КАК Я УХОДИЛ НА ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ

Белые армии наступали. Со всех сторон двинулись на Москву и на Петроград.

Вот уже перерезаны хлебные дороги. В Петрограде и Москве начался голод.

Вот уже не стало дров, не стало угля. А без топлива не могут работать заводы и фабрики.

В ту пору Владимир Ильич бросил клич:

«Товарищи рабочие, к оружию! Революция в опасности!»

А я только-только поступил на завод. Приняли учеником.

Жалко мне было расставаться со слесарными тисочками. Но революция в опасности — надо брать винтовку!

Пошёл я на призывной пункт.

На улице перед дверью уже очередь.

Подождал, добрался до начальника.

А за столом и не начальник вовсе — рабочий сидит в кепочке.

Подхожу, называю себя:

— Агашин Пётр!

А он:

— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать.

— А батька, — спрашивает, — согласен отпустить?

Говорю:

— У нас с завода все ученики на фронт махнули. Так что я, хуже всех, что ли?

Тут он и записал меня в Красную Армию.

Пришёл я домой прощаться — а сам уже в военной форме.

— Ой-ой, — запричитала мать, — да ведь он на войну собрался, Петька-то наш... Ой, горюшко!

Отец больной лежал.

Обнял он меня.

— Иди, — говорит, — сынок, иди. Сам бы пошёл бить белогвардейца, да ноги не держат. Иди и не давай врагу пощады!

Научили меня стрелять. Научили колоть штыком. А ещё я научился применять взрывчатку.

И мне очень понравилось, что попал я подрывником на бронепоезд. «Красный воин» — его название.

КАК МЫ СТАЛИ ТИГРАМИ И ЖИРАФАМИ

В первый же день службы на бронепоезде все мы стали чумазыми.

Ведь что такое бронепоезд?

Это два бронированных вагона с пушками и пулемётами, а посередине — паровоз.

И дышит паровоз дымом прямо в рот и в нос. Живо всех перепачкал. Из-под гребешка, когда причёсываешься, угольки сыплются.

Это одно. А пороховая гарь?

Когда бронепоезд стреляет из пушек — лица у бойцов становятся разрисованными. Будто чёрным карандашом нос обведён. И глаза обведены. И рот. Пороховая гарь набивается в складочки кожи.

Но и это не всё. На бронепоезде чего ни коснись — всё жирное от смазки. Пушки смазаны. Пулемёты смазаны. Снаряды в ящиках — и те смазаны. А про паровоз и говорить нечего: с него даже каплет машинное масло.

Всё вокруг жирное. Бойцу и не уберечься. В первом же бою мы так извозились в смазке, что стали, как тигры, полосатые. Или пятнистые — как жирафы.

Да ещё пооборвались. Бронированный вагон тесный. Вот и

натыкаешься на острые железные углы. Трещит одежда!

И смешно вспомнить: нравилось нам ходить оборванными да чумазыми.

Люди останавливаются, шепчутся:

«Это с бронепоезда. Геройские хлопцы!»

А мы в ответ ещё больше прорехи выпячиваем.

Гордимся дырками.

КАК НАМ ПОПАЛО ОТ ТОВАРИЦА ЩОРСА

И вот, представьте, какой вышел случай.

Стоим после боя на станции, отдыхаем. Ребята завалились спать — кто возле пушек, кто у пулемётов.

Вдруг поблизости — всадник. Всё на нём ладное — и шинель и ремни. Выбрит. Аккуратно подстриженная тёмная бородка.

— Кто бы это такой?

Разбудили командира.

Глянул он на всадника...

— Да это же Щорс, ребята! Надо встречу устроить! — И велел будить бойцов.

Николай Александрович Щорс — прославленный полководец. Щорса знал на Украине каждый.

И вот он — к нам в гости!

Конечно, мы, бойцы, — кубарем из вагонов. Встали перед бронепоездом в шеренгу.

Командир повернулся к нам:

— Смирно! — Прошагал вперёд — раз, два — и отдал Щорсу рапорт.

Щорс приложил руку к козырьку:

— Здравствуйте, товарищи!

Мы дружно ответили.

Стоим, а Щорс рассматривает нас. До того пристально смотрит, что бойцы даже шевелиться начали, как от щекотки.

— Кого это я вижу, интересно? — Щорс нахмурился. — Неужели советские бойцы? Нет, нет, это какие-то голодранцы на бронепоезде!

Командир стал оправдываться. Мол, на бронепоезде с одеждой беда. Не уберечься. Куда ни повернись — железо.

Щорс слушал с усмешкой.

— Железо, говорите, виновато?

И достаёт из фуражки иголку с ниткой.

— А про это железо вы забыли, товарищ командир?

Повернулся и уехал.

Вот какое получили замечание от самого Щорса! Совестно вспомнить...

Конечно, тут и иголки нашлись на бронепоезде и нитки.

Как взялись ребята портняжничать — живо починили одежду.

Глядим: целая, но грязная — опять нехорошо.

— На речку, ребята, бегом!

И развели мы большую стирку.

Правда, с мылом в ту пору было плоховато. Пошёл по рукам единственный на всех обмылок.

Но в ручье песок! А при старании, как говорится, и из песочка можно выжать мыльную пену.

Пока купались — солнышко одежду высушило.

С тех пор оставили мы глупую повадку — ходить чумазыми да оборванцами.

Боец Красной Армии должен быть опрятным — хоть в бою, хоть на отдыхе!

КАК В ОМУТ ЛАЗИЛИ

Теперь расскажу, какое у нас на той речке произошло знакомство.

Возвращаемся на бронепоезд, идём берегом. Подбираем плоские камешки и — швырк, швырк! — на воду.

Вдруг туда же в воду — бултых какая-то девчонка.

Прямо в одежде.

Вынырнула, вскрикнула — и тут потянуло её течением на тёмную глубину. Только коса с бантиком на поверхности. Но вот уже и бантик скрылся.

— Утонет! Спасай, ребята!

Я — сапоги долой и в воду. На Неве вырос, никакой глубины не боюсь.

Но и кроме меня нашлись умелые пловцы, так что не разобрать, кто из нас вытащил девчонку из омута.

Откачали её, привели в чувство — и призналась она, что топиться

пришла.

Конечно, в слёзы.

И бантик свой кусает. Мокрый он, не развязать — так она зубами.



Ребята рассердились:

— Да обожди ты с бантиком, дурёха! Выкладывай, что случилось.

И рассказала девчонка про своё горе.

Сирота она — ни отца, ни матери. Живёт у дяди, деревенского лавочника. Человек он злой и скупой. Пасла она лавочниковых свиней, пряталась по оврагам, где не стреляют, да и не заметила, что отошла далеко от дому. А тут — дубрава. Свиньи, понятно, накинулись на жёлуди: это для них первое лакомство! Разбрелись по лесу.

Кличет девчонка, кличет — не собрать стада. А беду накликала. Голос её привлёк белогвардейских солдат, и угнали они свиней к себе на кухню.

Досказав до этого места, девчонка схватилась за голову — и в рёв:

— Ой, лишенько, ой, ой, сживёт он меня со свету! Зачем спасали — легче бы сразу помереть...

— Встань-ка, — велели мы девчонке. — Как тебя звать?

— Оксаной.

— Так вот, Оксана, покажи, где та дубрава.

— Отсюда не видать. Во-он в той стороне!

— А белогвардейцев, этих негодяев, много?

Девчонка, вспоминая, побледнела, затряслась:

— Ой, не спрашивайте! У них там бронепоезд, ещё страшнее, чем ваш. У них — гора железная!

Но мы уже не слушали девчонку. Надо скорее обо всём доложить командиру.

А с Оксаной как же? Заест её лавочник.

— Пойдём с нами на бронепоезд.

— Ни-и-и... Боюсь.

Упёрлась — и ни в какую. А нам нельзя мешкать. Во весь дух пустились бежать к себе на станцию.

И сразу — к командиру.

Выслушал он нас и говорит:

— Это важная новость. До сих пор у белых на этом участке бронепоездов не было. Теперь война пойдёт по-иному: броня на броню!

Но верить ли словам девчонки? Мало ли что ей с испугу померещилось?

И наш командир выслал разведку.

КАК ДЕЙСТВУЮТ РАЗВЕДЧИКИ

Нет, не ошиблась Оксана. Против нашего «Красного воина» белогвардейцы выставили свой бронепоезд.

Вот что рассказали разведчики.

Вражеский бронепоезд и вправду грозный. Пушек побольше, чем на нашем, и пулемётов побольше.

А главная его сила в броне.

Один из разведчиков измерил броню.

Ловко он это сделал! Подкрался к бронепоезду — да как швырнёт в него камнем. А сам — за дерево.

С бронепоезда застрочил пулемёт. Но за дубом спокойно: пуля дубовый ствол не пробьёт.

Пустил ещё камень.

На этот раз в стальной стене открылась дверца — и с руганью высунулся офицер.

На макушки деревьев грозится: как видно, решил, что это белки кидаются желудями.

А разведчику только того и надо, чтобы дверца открылась. На ребре-

то дверцы как раз и видна толщина брони!

КАК СТАРЫЙ СОЛДАТ СКАЗКУ СКАЗЫВАЛ

Так мы узнали, что броня толстая, толщиной с большой палец.

А у нас — всего-то с мизинчик...

Теперь каждый стал разглядывать свои пальцы. Сличаем большой палец с мизинцем.

Даже завздыхали некоторые...

Одна мысль у всех: пробьют ли наши пушки этакую белогвардейскую броню?

Позвали на совет Старого Солдата (так мы прозвали Степана Дорофеевича — самого пожилого у нас на бронепоезде красноармейца).

Подумал он и говорит:

— Смекаю я вот что, ребята. В той стороне нет таких заводов, чтобы катали белогвардейцам броню. Значит, откуда она у них? От доброго дяди. А кто у беляков добрый дядя? Известно — империалист. А у империалистов всё в лапах: все заводы, все солдаты, целые страны и даже короли.

Вот империалист и говорит, к примеру, английскому королю:

«Послушай-ка, господин хороший, беляков в России бьют. А ведь это наши с тобой верные слуги. Надо выручать. Пошли-ка туда броню для бронепоезда. Твоя английская броня знаменитая. Её и пушки не пробьют!»

Ну, король, понятно, ножкой шаркнет:

«Слушаюсь! Дам броню. Только, — говорит, — мою просьбу уважьте».

Империалист спрашивает:

«А какая твоя просьба? Может, и уважу».

«А моя, — отвечает, — королевская просьба вот такая. Название надо дать бронепоезду. И чтобы буквы были во всю броневую стену — от крыши до колёс. Чёрной краской пусть намалюют, да пострашнее!»

Империалист:

«А название придумал?»

«Придумал, — отвечает король. — Название поставим вот какое: «Долой красную Москву!»

Тут ребята замахали на Старого Солдата:

— Полно, Дорофеич, сочинять-то! Ты же не был в разведке. И не

можешь знать, какая там у них надпись на броне!

Но разведчики подтвердили, что на броне у белогвардейцев и вправду чёрная надпись. И эти самые слова: «Долой красную Москву!»

Тут все, сколько нас было, умолкли — будто онемели.

И потом, не сговариваясь, как крикнем:

— Никогда!

А наводчик-артиллерист уже тише, но грозно закончил:

— Не видать тебе красной Москвы, вражья сила. Никогда! Никогда!

КАК БОЙЦЫ СДЕЛАЛИСЬ ШКОЛЬНИКАМИ

Нашего командира вызвали в штаб.

Возвратился он оттуда задумчивый.

— Неважная, — говорит, — новость, товарищи.

Так мы узнали, что у белых на бронепоезде — знаменитый артиллерист. Ещё царь награждал его за меткую стрельбу.

Человек богатый, из помещиков, и Советскую власть ненавидит.

«Хочу, — говорит, — сам, своим глазом, прицеливаться в коммунистов и истреблять их. С первого снаряда расколочу большевистский бронепоезд, и это будет для меня лучшая награда».

Опасный враг. Главное, бьёт без промаха.

— В бой! — закричали бойцы. — Драться с ним!

— А вот кричать ни к чему, — сказал командир. — Криком врага не возьмёшь. Народ вы, я знаю, отважный, каждый из вас готов жизнь положить за Советскую власть.

Но для победы этого мало. Надо ещё научиться метко стрелять.

Стали между боями учиться. Пришлось, конечно, поменьше отдыхать.

Артиллеристы практиковались у пушек. На скорость. На точность наводки.

Пулемётчики брали прицел из пулемётов: дальше — ближе, влево — вправо.

Машинист стал сажать на своё место кочегара, учил управлять паровозом.

А я напил из полена деревянных кубиков.

Сказал себе: «Как будто это взрывчатка» — и стал составлять из кубиков разные заряды. Тоже для практики.

Наверное, ни в одной школе не учатся так прилежно, как учились на

бронепоезде. Каждый понял: одной храбростью врага не одолеешь.

КАК ОБЗАВЕЛИСЬ НОВЕНЬКИМИ ЛОЖКАМИ

Бронепоезд на отдыхе, и ребята, прячась от солнца, сгрудились в холодке.

А по полю знай похаживает наш Старый Солдат.

Наклонится, оставив больную ногу, подберёт что-то с земли — и в сумку. Словно землянику собирает.

— Будете, — говорит, — довольны.

Да и опрокинул сумку.

Со звоном высыпались оттуда осколки снарядов — грязные, колючие уродцы.

— Разложите-ка, — говорит, — ребятки, костёр. Да пожарче!

Разложили на дне канавы.

Прогорел костёр — и зазолотилась большая куча углей.

Дорофеич доволен.

— Открываем, — говорит, — ребята, литейный завод!

И сунул в жар железную лопату.

А на лопате, как в ковшике, — осколки.

И — удивительное дело! — уже нет грязных уродцев. Тают, тают... И засветились серебром.

— Это алюминий, — пояснил Дорофеич. — В снарядах он, чтобы ловчее убивать людей. А мы его определим на пользу солдату. В ложках, ребята, нуждаетесь?

Тут все заговорили разом, перебивая друг друга.

Ещё бы не нуждаться! Деревянные ложки быстро сгрызаются: зубы-то у нас молодые!

Кое-кто из ребят прилачился дуть на угли. Угли ещё больше засияли, жару прибавилось.

Дорофеич похвалил помощников.

— Поспевает, поспевает, — шепчет он, глядя на светящуюся лужицу в ковшике. И вдруг выхватил лопату из огня.

Лужицу алюминия он перелил на кирпич.

А на кирпиче у Дорофеича выдолблена ямка — как раз по форме ложки.

Этот кирпич он тут же накрыл другим кирпичом — с бугорком против

ямки.

Разнял Дорофеич кирпичи — и ложка готова.

Так — раз за разом — одарил Старый Солдат бойцов новенькими ложками. Да не простыми — алюминиевыми!

КАК ЖИЛ, БЫВАЛО, РУССКИЙ РАБОЧИЙ

— Спасибо, Степан Дорофеич, за новенькие ложки!

Поблагодарили мы Старого Солдата, и конечно, нам интересно узнать, откуда у человека такое мастерство.

— Видать, и до революции литейщиком работал?

Старик усмехнулся:

— Всякое бывало...

Дорофеич помолчал, набивая табаком самодельную трубку. Потом стал рассказывать.

И услышали мы, как жил до революции русский рабочий.



В мальчишестве бывал он много бит.

Сперва отец бил — в дни получки, спьяна.

Потом сапожник бил — ремеслу учил. Сбежал от сапожника.

Нанялся в трактир — колоть дрова, выносить помои. Здесь трактирщик за разбитую тарелку порвал ему ухо.

Подрос Стёпа. Поступил на железную дорогу, стрелочником.

Занятная это должность. Мчится поезд — шум, грохот.

С каждой секундой всё страшнее его вид. Вот-вот сомнёт, раздавит! А ты перевёл стрелку — и огнедышащее чудовище послушно уходит на соседний путь, уволакивает туда свой хвостище.

Степан почувствовал себя богатырём.

Да забыл богатырь про начальника станции.

Во дворе у начальника — корова, лошадь, всякая птица, свиньи.

Вызывает стрелочника:

— В хлеву поработаешь. Навоз надо выгрести. Потом кухарка научит, как корм задавать животным.

Парень возражает:

— Извиняюсь, господин начальник, но я не батрак у вас. Я стрелочник.

Тот как рассвирепеет:

— Ах, не желаешь работать? Вон отсюда!

И прогнал Степана.

Вот когда хватил парень горяшка... Руки здоровые, а работы нет.

Мечталось ему попасть на большой завод.

На большом заводе людно. И все рабочие между собой товарищи.

Но у ворот — хозяйский приказчик.

— Иди прочь! — кричит. — Много вас тут шатается безработных.

Нежданно-негаданно повезло Степану. Попал-таки на завод.

Прилежно к делу отнёсся — и за два года стал слесарем.

Сдружился Степан Дорофеич с хорошими людьми.

Стали вместе книжки читать, а в тех книжках — про жизнь счастливую, невиданную.

Собирались тайком. Читали и раздумывали, как же добыть это счастье для рабочего человека.

А тут — жандармы. Всех и накрыли.

Понятно — тюрьма...

Когда Дорофеич вышел из тюрьмы — уже седина в голове.

Сунулся на завод, а ему — от ворот поворот. «Каторжных, — говорят, — на работу не ставим!»

И сколько ни стучался по заводам — всюду одно: «Проваливай, не нуждаемся!»

И до чего же он обрадовался, когда попал в шахту!
Но работать приходилось стоя в подземной, студёной воде.
А на ногах у Дорофеича только лапти.
Скрутил человека ревматизм — и стал он калекой...
Вот какую историю рассказал Старый Солдат. Про себя рассказал.
Нам, молодым красноармейцам.



Долго ребята молчали, опустив головы.

А старик опять занялся трубкой. Пустил из своей трубки горький дымок и говорит:

— В больнице лежал. Никакие лекарства не помогали. Думал, так, скрючившись, и помру.

— Чем же тебя вылечили? — спрашиваем. — Ведь ходишь?

— А враз пришло исцеление! — Солдат весело подмигнул. — Революция стала докторицей. Октябрьская. В боевые ряды потребовала. За власть Советов! Тут мои ноги и пошли.

Дорофеич встал и притопнул молодежато ногой, притопнул другой.

— Гожусь ведь и я на бронепоезде. Как, ребята, считаете?

КАК ВСПОМНИЛИ, ЧТО Я ПОДРЫВНИК

Разведка донесла, что на вражеском бронепоезде весь день приготовления.

Не собирается ли полковник напасть на нас?

Донесение разведки поступило вечером.

Сыграли тревогу.

Сразу же были отменены учебные занятия, и бронепоезд приготовился к бою.

— Агашин! — позвал меня командир. — А вам особое задание.

Командир раскрыл карту. Достал спичку из коробка и стал ею замерять расстояние на карте.

— Вот здесь, — он отчеркнул место ногтем, — устроим врагу преграду. Вам, Агашин, понятно — какую?

— Понятно, товарищ командир: взорвать путь!

Я стал готовить заряды.

А в провожатые знаете кого мне дали? Самого главного нашего силача — матроса Люлько!

Случись, он и голыми руками прикончит любого белогвардейца.

И правильно, что со мной матрос. Удалимся от своих — всякое может случиться.

КАК СОЛДАТ СЧИТАЕТ ДО ТЫСЯЧИ

— Далеко ли шагать? — спросил Люлько, когда ночью мы тронулись в путь.

— Вот отсчитаем тысячу шагов — мы и на месте.

«Раз... два... три... четыре...»

Считаем молча — каждый про себя. А время от времени сличаем счёт, чтобы не ошибиться.

Тишина. Только изредка, будто спросонья, пропоёт белогвардейская пуля.

«Двести семь... двести восемь... двести девять...»

Под ногами песок и галька. Как ни ступишь — хрустит. Да ещё о шпалы спотыкаемся. Нехорошо это, могут услышать. ..

— Эх, кошачьи бы лапы подрывнику!

«Пятьсот двадцать... Пятьсот двадцать один... Пятьсот двадцать два...»
Чуть приметно голубеют две стальные полоски. Это светятся рельсы
— должно быть, от звёзд.
«Семьсот сорок пять... Семьсот сорок шесть... Семьсот сорок семь...»
— Люлька, сколько насчитал?
Матрос называет число. Счёт сходится.
Всё ближе к белым. Опасно уже и сапогами стучать.
Разулись. Пошли шагать по шпалам в портянках.
Конечно, больше ни слова. Ни-ни.
От волнения, чувствую, начинают гореть щёки.
«Девятьсот девяносто восемь... Девятьсот девяносто девять...
Тысяча».
Мы на месте.
Я быстро скинул мешок, раскрыл его, нащупал заряд... Вдруг — шум.
У белых шумит.
Нет. Уже ближе...
Тут матрос, только что заступивший часовым, как тряхнёт меня за плечи:
— Бронепоезд катит. Ихний. Ты что же копаешься? Полундра!

КАК САПОГ НА ВЫРУЧКУ ПРИШЁЛ

Катит вражеский бронепоезд...
Но я не должен подпустить врага!
Спешу, поставить заряд.
Вот верёвочка. Заряд надо привязать к рельсу.
А сам трясусь от страха, что не успею взорвать путь.
И вдруг чувствую: онемели пальцы. Как с мороза. Непривязанный заряд отвалился от рельса.
— Люлька, — кричу, — на помощь!
Но верёвочку в темноте не отыскать. Потерялась верёвочка.
Тут матрос, не долго думая, приставил свой сапог. А подошва у сапога, известно, как пружина: упёрлась в заряд и держит!
Заряд на месте. Остаётся поджечь пороховой шнур. Поджѐг. Горит.
— Берегись! — И я хватаю матроса за руку.
Кубарем скатываемся под откос. Бежим прочь.
Позади — короткая вспышка пламени. С воем разлетаются в стороны

куски взорванного рельса.

Опять взрыв. Отчего это? Непонятно.

Но загадочный взрыв такой силы, что прижимает меня к земле.

И я теряю сознание...

КАК МЫ С МАТРОСОМ ПОТЕРЯЛИСЬ

Очнулся я от холода. Перевожу дыхание и чувствую: пахнет землёй, сыростью.

Я — в железнодорожной канаве. Пробую встать.

Рядом матрос.

— Петро, — шепчет, — ты жив?

— Ой, Люлька, не знаю. Всё тело болит, не шевельнуться... А слышал, был второй взрыв? Какой-то непонятный.

— Непонятный, однако же обоих нас искалечил. Да заодно и похоронил!

Только теперь я заметил, что мы под паровозом.

Какой он страшный!.. Брюхо распорото, словно чёрная пещера нависла над нами. И всюду в железе сквозные дыры. Через дыры на нас светит луна.

Страшно? Вовсе нет — мне стало весело: это же белогвардейский бронепоезд вверх тормашками! От моего, красноармейского кубика. Не спасла его и английская броня!

Говорю матросу:

— Люлька, в честь победы давай крикнем... ой-ой, больно... ура!

Он тихонько хлоп меня по губам ладонью:

— Молчи. Люди...

Наверху слышались голоса.

«Белые?..»

Люлька схватился за винтовку, нацелил вверх.

Людей не видно.

По голосам — не меньше троих-четверых. А белые или наши — из разговора не понять.

Вдруг слышу: спускаются с паровоза. На меня сыплется железный мусор.

Спустились. Начинают обшаривать землю. Теперь могут нас обнаружить...

Матрос сунул мне в руки наган.

Лёжа, но как-нибудь выстрелю.

Вдруг окликают нас:

— Агашин! Люлька! Если живы, отзовитесь! И четверо выходят из-под паровоза на свет. «Наши!»

Матрос опускает винтовку.

Я сбрасываю с груди наган.

Хочу крикнуть, отозваться — и не могу.

От радости сдавило горло...

КАК ГОРЕВАТЬ ПРИШЛОСЬ

— Крепко же тебя, паренёк, воздухом ударило, — сказал фельдшер, заканчивая меня осматривать. — Не миновать госпиталя.

И перешёл к матросу.

А я фельдшера и не слушаю: не хочу, ни за что не хочу в госпиталь!



Лежал я теперь на сухом месте, согрелся. «Интересно бы, — думаю, —

на пленных поглядеть».

Подзываю разведчиков, спрашиваю, много ли пленных забрали на бронепоезде.

— Пленных нет.

— Как так нет? Неужели погибли? Все до одного, вместе с бронепоездом?

А ребята:

— Не было здесь бронепоезда. Свалился обыкновенный паровоз.

Значит, перехитрили нас белые.

Оставили в дураках!

Должно быть, я жалобно застонал, потому что разведчики наклонились ко мне, принялись успокаивать.

Растолковывают, что выпустить паровоз на линию проще простого. Для этого, дескать, и людей не надо. Долго ли, поднявшись в будку машиниста, открыть пар да выпрыгнуть?

Слушаю я всё это, но не пойму главного.

— Простой, мирный паровоз... Зачем ему бродить здесь по ночам?

Ребята перебивают:

— Ого, хорош мирный! Паровоз-то с начинкой. Оттого его и разорвало.

— Петро, — вмешался матрос, — чего ж тут не понять? Слыхал про морские торпеды? Торпеду пускают по воде во вражеский корабль. Ударит, взорвётся, и корабль — ко дну. А полковник начинил взрывчаткой паровоз, пустил, как торпеду, против нашего бронепоезда.

Ух, какая ненависть разгорелась во мне против белогвардейского полковника!

Какими только словами я не грозился!

Но что стоили мои угрозы? Полковник жив-здоров, пьёт, наверно, утренний кофе с английскими сливками и французским печеньем.

И бронепоезд с наглым названием «Долой красную Москву!» стоит целёхонек.

А меня несут на руках в госпиталь.

Рядом в одном сапоге ковыляет матрос.

И от всего этого хотелось зареветь.



КАК СТУЧАЛИ ВЕСЁЛЫЕ КУЗНЕЦЫ

Доктор сказал, что лежать мне не меньше месяца.

Тридцать дней в тылу! Сюда даже гул стрельбы не долетает: петухи кукарекают, гуси гогочут.

Маялся я, маялся, ворочаясь на койке... Вдруг ко мне посетитель в белом халате. И кто бы вы думали? Наш командир бронепоезда! Рассказал он мне про все новости на бронепоезде.

Потом улыбнулся — непонятно чему. И раскрывает пригоршню.

Гляжу — на ладони красный лоскут распускается в виде розы. А посередине — часы. Пузатенькие, на длинной цепочке — ну, загляденье, до чего хороши!

— Нравятся? — спрашивает.

Я головой киваю.

— Потрогать хочешь?

Приподнял я часы, подержал в руке.

— С обновкой, — говорю, — вас, товарищ командир!

И нацеливаюсь положить часы обратно, в их красное гнёздышко.

А командир:

— Не торопись, Петя, класть, разгляди получше.

И замечаю я надпись на обратной крышке. Мелкими буквами вырезано:

Подрывнику АГАШИНУ П. И.

за храбрость и умелость.

От командования бронепоезда «Красный воин».

Это было так неожиданно, что я чуть не выронил часы.

— Нет, нет, — бормочу, — мне не за что. Не возьму!

Тороплюсь объяснить, что награда неправильная. И про верёвочку сказал, которую не мог завязать. И про то, что матрос из-за меня в одном сапоге остался. И про бронепоезд. Враг-то от нас ускользнул. Какая же это храбрость? Какая умелость?

Командир выслушал меня и говорит:

— А теперь я скажу, а ты послушай. Товарищ Агашин! — Говоря это, командир встал. — Рискуя жизнью, вы уничтожили вражеский паровоз-торпеду. Родной наш бронепоезд «Красный воин» благодарен вам. Примите заслуженную награду.

Взволнованный, я принял часы обеими руками.

— Служу Советскому народу!

Командир ушёл, а я зарылся головой в подушку и приложил к уху часики.

А там внутри: «Тик-так, тик-так, тик-так...»

Будто весёлые кузнецы по наковаленке названивают.

КАК КРЕПНЕТ ДРУЖБА

Наконец-то меня выписали из госпиталя!

На бронепоезде встретили как родного. Ребята обнимают, руку жмут. Поздравляют с наградой.

Дорофеич, увидев меня, зашевелил усами, заулыбался:

— Ну-ка, Петруша, покажись!

Он ощупал мои руки, плечи, шутя дал подзатыльника, от которого я закачался.

— Эге, — говорит, — да ты совсем ослаб, лёжа в госпитале! Ну, не беда: теперь я поваром — ребята выбрали. Так что готовься съесть двойную порцию!

А вот и матрос.

Мы кинулись друг к другу.

— Люлька!

— Петро!

Обнялись, поцеловались и снова обнялись.

— Люлька, — спрашиваю, — ну, как же твоё здоровье? Поправился после взрыва?

Матрос заломил бескозырку и подмигнул:

— А что мне, морскому волку? Я и в море тонул и в огне горел. От меня, браток, и пуля отскочит, и штык об меня поломается. Здоров!

А помнишь Оксану? — спросил Люлька. — Ну, девчонка, что хотела в речке утопиться? Теперь она санитаркой, да поглядел бы, как она ловко раненых перевязывает.

Я обрадовался.

«Нашлась! Удрала-таки от своего лавочника. Вот молодец! Ну, ей у нас будет хорошо в Красной Армии».

КАК ЛОВИЛИ СУСЛИКА

Ш-ш... Бронепоезд в дозоре.

Затаился среди деревьев и стал невидимкой.

А нам с бронепоезда далеко видно. Командир наблюдает за противником в бинокль.

Тишина. Только птичий гомон в лесу.

Дорофеич выглянул из бронебашни.

— Ишь, — говорит, — раскричались певуны! Будто и войны нет.

Меня увидел.

— Ну-ка, Петя, который час? Не пора ли обед готовить?

Теперь у меня все спрашивают время. И знаете, рука не устаёт лазить в карман. Даже приятно потянуть за цепочку и вынуть часы.

— Без четверти, — говорю, — десять.

Дорофеич щурится на солнце и вдруг хлопает себя по коленям:

— Правильно! И по солнышку — без четверти десять. Ай, знатные у тебя, Петруша, часики. Да оно и понятно: худых в награду не дают.

Старик кинул за борт корзину. Она у него сплетена для провизии.
А провизия — вот она, рукой подать.

Жёлтым частоколом стоит неубранная кукуруза. На грядках сахарная свёкла. Стелется горох. Выглядывает красными мордочками морковка.

Всё это пропадает: война.

А Дорофеич наберёт в корзину того да этого, всего понемногу — можно и борщ сварить.

Спустился он из вагона, подобрал свою корзину, а тут в зарослях кукурузы шевельнулся стебелёк. Прошуршали сухие листья.

Дорофеич заулыбался:

— Суслик! Этот не сплоскает, уже обедает! — И старик тоненько, по-сусличьи, свистнул, посылая зверьку привет.

Но вдруг Дорофеич изменился в лице. Тревожно вобрал голову в плечи. Машет нам вверх, зовёт на помощь.

Я схватил винтовку. Для старика — гранату. И — из вагона.

— Дорофеич, — шепчу, — ты что?

Он послал меня в обход кукурузного поля, а сам с гранатой — грудью вперёд.

Углубился в кукурузные заросли да как крикнет:

— Руки вверх!

Верить ли глазам — поднимается с поднятыми руками крестьянин...
Вот так суслик!

Но на человека жалко смотреть: босой, без шапки.

Шепчу:

— Дорофеич, не зря ли пугаешь человека? Может, это его огород, тогда спасибо надо сказать, что кормимся.

— А вот сейчас, — говорит, — проверим!

И — к задержанному:

— Вы здешний?

— Ни, иду своей дорогой.

Дорофеич нахмурился:

— А если совесть чиста, почему в кукурузе прятался?

— Жарко, — говорит, — присел отдохнуть, да и заснул.

Это в десять-то утра ему жарко! Солнце только-только начинает пригревать, а человек полуголый. Ишь разжарился!

Пришлось этого крестьянина препроводить на бронепоезд.

КАК ПЕРЕХИТРИЛИ ХИТРОГО

Командир усадил крестьянина, как гостя. Повёл с ним беседу.

Толкует о том, о сём и — как бы невзначай — ставит нужные вопросы.

Гость попросил закурить. Дали ему табачку.

Задымить задымил, а разговаривать не желает.

Командир встал.

Оглядел человека с головы до ног — и вдруг подзывает Дорофеича:

— Скажите, он так и был босиком? Что-то не верится... Ну-ка, дежурный, принесите ведро воды.

Принёс дежурный воды — и давай плескать пленному на ноги. Поплескал — грязь сразу и сошла.

— Ну вот, — сказал командир, — ноги у человека белые, ни царапинки. Ясно: был в сапогах. А где они? Выбросил?

Тот как услышал, что сейчас пойдут шарить в кукурузе, — застонал даже.

Разыскали сапоги. Принесли командиру.

Он принялся выстукивать пальцем подошвы. Стукнет — и прислушается к звуку.

Потом стал ощупывать сапоги изнутри.

Усмехнулся, взял нож, просунул его в голенище — и затрещала подкладка.

Вынимает командир из сапога платочки — женские, с вышивкой. Держит их за кончики, показывает бойцам. И каждый видит, что на платочках тонким пером наведены чертежи, военные знаки и свободные места густо исписаны.

Вот какой суслик нам попался!

Двое бойцов, взяв винтовки наперевес, повели шпиона в штаб.

Но по дороге вот что случилось...

КАК ПАПИРОСКА ПОДВЕЛА СОЛДАТА

В штаб мы хаживали по-разному: можно полем, а можно через село.

Через село ближе.

Этим ближним путём конвоиры и повели шпиона. А того и не

подумали умники-разумники, что короткая-то дорога не всегда лучшая.

Но расскажу по порядку.

Украинские сёла все в садах. И огорожены сады всего только низенькими плетнями.

Плетень, а за ним — зелёная непроглядная гуща.

Идут конвойные по сельской улице, ведут пленного.

А он клянчит:

— Дайте покурить...

Конвойные пригрозили винтовками:

— Шагай, шагай, не задерживай!

А тот как примется совестить бойцов. На командира бронепоезда сослался: мол, вот деликатный человек, сам угостил покурить, а у вас, жадины, проси — не допросишься!

Красноармейцам обидно такое слышать.

Опустили винтовки. Один достаёт из кармана кисет с табаком.

Другой готовит самодельную зажигалку, чтоб высечь огонька.

Вдруг — оглушительный вопль:

— Караул! Грабят!

Бойцы опешили. Смотрят по сторонам.

А это шпион крикнул — для обмана. Да сам — через плетень.

Караульные засуетились — руки-то заняты! Не сразу и стрелять наладились.

«Бах-бах-бах!..» — загремели выстрелы.

Били наугад. Но когда обшаривали сад, обнаружили свежую кровь. Значит, пуля настигла негодяя!

Но где он сам?

Пропал. Как сквозь землю провалился...

Командир донёс о случившемся в штаб.

Пятьдесят бойцов в конном строю кинулись прочёсывать поля, рощи, овраги.

Другие пятьдесят конников оцепили село.

Обыскали каждый дом, дворы, сады, клуны, стога сена... Но пропал беглец, окончательно пропал!

КАК ТРУСИХА СТАЛА ХРАБРЕЦОМ

Утром, проснувшись, я побежал к паровозу.

Здесь и умоешься — воды в тендере хватает! — и ночные новости узнаешь.

На этот раз толковали... о чём бы это?

Оказывается, ночью на бронепоезд прибежала санитарка с перевязочного, Оксана! Часовой кричит: «Стой!» — а она ему ещё громче: «Пропусти!»

И пробилась к командиру.

Скажет слово — и в рёв, ещё слово — слезами зальётся.

Будто Оксана кричала в глаза командиру, что она изменница, трусиха, злодейка.

Едва успокоили. Едва добились от неё разумных ответов.

И вышло на поверку, что Оксана шпиона обнаружила. Здорово?

И никакая она не изменница и не трусиха. А просто, как у всех девчонок, у неё глаза на мокром месте.

Словом, дело было так. На перевязочный пункт притащился раненый. Увидела его Оксана — и обомлела: дядя, лавочник, от которого сбежала... Неужели за ней?

Но дядя успокоил её: живи, мол, как хочешь, теперь порядки свободные, советские. И добавил, что сам он тоже стал другим человеком — на фронте был, кровь пролил за Советскую власть.

Оксана была как в тумане. Дядя не велел звать доктора, и она сама перевязала ему простреленную руку. А в книгу записала его, как он велел, красноармейцем.

Вдруг по селу обыски, облавы. Стало известно, что ловят шпиона. Сунулись конники и на перевязочный пункт.

Тут лавочник пригрозил Оксане:

«Выдашь — тогда и тебе не жить. Прикончим!»

Но Оксана не испугалась угроз — прибежала на бронепоезд.

В ту же ночь наш командир лично арестовал «суслика». Теперь его свели в штаб уже под надёжной охраной.

И сапоги с тайниками туда переслали.

И кружевные платочки.

КАК СДЕЛАЛИ ПЛАТОЧКИ НАОБОРОТ

Платочки со шпионскими знаками доставили в штаб.

Разгадали там эти знаки и встревожились: в руках у шпионов важные

военные тайны!

Беда, если бы лавочник принёс кружевные платочки врагу.

В штабе, на допросе, спросили:

— Кому вы несли сведения? Назовите: кто ваш начальник?

Лавочник долго упирался, но видит — деваться некуда. Признался, что сведения передаёт полковнику.

Так вот он каков, этот полковник! Не только у пушки на бронепоезде, но ещё расплодил против нас шпионов!

В штабе решили одурачить полковника.

Он ждёт кружевные платочки?

Хорошо, отправим ему платочки. Приготовим как надо, со шпионскими знаками. Только на этих платочках сведения будут — наоборот.

Так решили в штабе.

И потребовали в штаб матроса Люлько.

Люлько живо смекнул, как действовать.

— Оденусь, — говорит, — в крестьянскую одежду, платочки ваши — для сохранности — в кисет с табаком. И потопая на ту сторону.

— А что вы, товарищ Люлько, скажете полковнику?

— А скажу ему так. Мол, ваше высокоблагородие, беда приключилась. Ваш надёжный человек, лавочник, большевиками схвачен. Но уцелели его платочки. Успел мне их подсунуть. Он мне сосед...

В штабе даже засмеялись — так ловко Люлько представил мужичка.

— Ну, мы в вас уверены, товарищ Люлько. Видно, что не растеряетесь. В добрый час!

КАК ДРОЖАЛ, КАЧАЛСЯ ОГОНЁК

Ночь. Сидим вдвоём в броневом вагоне.

Командир молчит. И я молчу.

Чуть шорох — оба настораживаемся: не матроса ли шаги?

Качается огонёк коптилки.

Если отщипнуть обгоревший фитиль, огонёк становится ровным, чистеньким, как зёрнышко. Но проходит минута — и огонёк ложится набок, опять шатается и коптит.

Поздно. Вот уже на бронепоезде просвистали отбой.

Стихают голоса. Бойцы укладываются спать.

А мы всё сидим.

И вижу я, что на лбу у командира всё больше и больше тревожных морщинок...

— Товарищ командир!

Командир вскидывает на меня глаза, а я не знаю, что сказать. Окликнул его, потому что мне стало страшно за матроса.

Потом говорю первое, что приходит в голову:

— Товарищ командир, а правда, что английская броня очень крепкая?

Командир усмехается:

— Такая крепкая, что и пушки не возьмут? Глупости это. На «Красном воине» отличные пушки. Кстати, изготовили их у вас в Питере. На каждой марка выбита: «Путиловский завод».

Мне вспомнился отец, и сердце сжалось от нежности к нему.

— Мой батя, товарищ командир, работал на Путиловском. Только он больной сейчас.

— Вот видишь, Агашин. Может, эти пушки твой отец сделал. Для нас, бойцов за Советскую власть. Не могут такие пушки стрелять плохо!

Опять молчим. Глядим на огонёк.

Я отщипываю с фитиля нагар.

Но огонёк — уже в ползёрнышка, в четверть зёрнышка.

Неужели погаснет?

Командир вдруг встаёт:

— Агашин, отправляйтесь спать. А я подниму разведчиков. Пошлю их навстречу матросу... Спать, Агашин!

КАК ЭТО БЫЛО

Разведчики возвратились вместе с матросом.

Только он не сам пришёл.

Его принесли мёртвого.

Ах, почему же ты, Люлько, ну почему не поберёгся?.. Сперва у моряка всё шло благополучно. Белогвардейские часовые приняли его за крестьянина. Обыскали, нет ли оружия. Оружия не оказалось.

Но они привыкли обирать крестьян. А если нечего отнять — избивали.

Но Люлько силач. Не допустил, чтобы ему надавали тумаков.

— К полковнику ведите. Несу ему важные сведения.



И так он ловко изобразил мужичка-простачка, что полковник тут же откупорил бутылку французского коньяку.

— Угощайся. А где же твои платочки?

— Зараз, зараз... — И матрос, доставая кiset, на свою беду, распахнул грудь.

А грудь у него в морских картинках... И повыше картинок наколото: «Да здравствует мировая революция!» Матроса схватили, связали.

Допрашивал полковник. Он же его и замучил.

И вот мы, бойцы, стоим вокруг свежей могилы. Вынесено знамя. Командир говорит речь над гробом. Но я почему-то плохо понимаю слова.

Меня трясёт. Голова горит. Ох, как больно голове... Будто не матроса, а меня полковник тюкнул топором, вырубая на лбу красноармейскую звезду...



КАК СОЛНЫШКО ПРИШЛО В ТОВАРИЩИ

Вот он, наконец, решительный бой.

Командир приказал развернуть красное знамя.

Я ожидал, что ринемся вперёд: «Ура, даёшь белогвардейца!» А командир пошёл в поле за соломой. Бойцы побежали помогать. И я, конечно, не отстал.

Навалили перед бронепоездом кучу соломы.

Машинист принёс с паровоза ведро мазута и выплеснул на эту кучу. Солома потемнела и замаслилась.

Теперь не подходи с огнём!

Командир поднялся в башню. Наставил бинокль — глядит вдаль.

Вражеский бронепоезд молчит. Должно быть, он ещё очень далеко.

Вдруг в утреннем тумане что-то сверкнуло... Выстрел!

Наш «Красный воин» резко попятился. Ну прямо-таки отпрыгнул

назад. И снаряд, нацеленный полковником в бронепоезд, угодил в кучу соломы.

Жирная солома от взрыва вспыхнула — и за клубился чёрный дым.

Командир ещё больше прильнул к биноклю.

— Отлично, — говорит, — отлично. Горит солома, а беляку кажется, что он поджёт бронепоезд. Кончать нас идёт!

Теперь и без бинокля видно, что надвигается серое чудовище... Ух, глядеть страшно!

Я отвернулся.

«Красный воин» неторопливо уходил задним ходом.

— Заманивай его, заманивай! — кричал командир машинисту. — А где дым? Дыми!

Тут из трубы паровоза с рёвом повалил чёрный дым — да такой густой, что думалось: «Уж и вправду не горим ли?»

Но это была только уловка.

«Красный воин» прикидывался, что подбит, сражаться не может, что рад бы спастись.

Вражеский бронепоезд осмелел. Всё ближе он, всё ближе.

— Готово, заманили, — сказал командир. — Стоп!

Гляжу, «Красный воин» встал спиной к солнцу.

А врагу, значит, солнце — в глаза!

Вот это позиция, вот здорово!

И пошли тут солдатские шуточки.

— Ну-ка, господин полковник, покажешь ли теперь призовую стрельбу?

Куда там! Солнышко ослепило полковника, не давало ему правильно нацелиться. По-товарищески помогало нам.

Стрелял полковник, стрелял — и всё мимо, всё не попад.

Не забывайте, что мы ещё и паровозным дымом укрыты!

— Ну, хватит, — сказал командир. — Дали беляку пострелять — теперь дело за нами!

И сам встал к пушке.

— Машинист, вперёд!

«Красный воин» прорезал дымовую завесу и стремительно вышел на светлое место.

Вот он, вражеский бронепоезд: страшилище — будто огромная черепаха.

Но не успел я толком сообразить, что происходит, как панцирь черепахи расколосся и сполз набок. Из-под него рванулось пламя.

— Урра-а-а!.. — закричали ребята.

— Ура!.. — подхватил и я.

Ведь всё дело было в первом выстреле: кто кого застигнет врасплох — за тем и победа.

Наш командир перехитрил полковника и первым вlepил ему снаряд в башню.

Да ещё с короткого расстояния — чуть не в упор. И броня — вдребезги.

Тотчас загрели залпы из всех наших пушек.

И вот уже не грозная черепаха перед нами, а сплошной костёр...

КАК ЛОВИЛИ БЕГЛЕЦА

Я гонюсь за полковником.

Он — от меня.

Вся черепаха в огне, а он спасся, из пекла выскочил!

— Стой, — кричу, — сдавайся!

А он только набавляет ходу.

В первый раз своими глазами вижу этого бандита. Долговязый да длинноногий, он до того лёгок на бегу, что я едва за ним поспеваю.

В руках у меня наган, но на ходу не прицелиться.

— Стой! Буду стрелять!

Нажимаю на курок, гремит выстрел — и бандит растягивается в траве.

— Ур-ра-а!..

Но не успеваю порадоваться победе, как долговязый вскакивает — и опять ходу.

Значит, только прикинулся подстреленным.

«Эх, Петька, дал зевака!» — выпускаю вдогонку пулю за пулей.

А он — в сторону, в другую. Шарахается, приседает... Нажимаю на курок: бах-бах-бах-бах!..

И — пшик. Кончились мои патроны.

Полковник остановился, посмотрел на меня.

Почему же он не стреляет в ответ?

И тут я понял, что он безоружный.

«Безоружный беляк вооружённого красноармейца обдурил! Да что же это за срамота?» — подумал я в отчаянии. А он — опять от меня.

Гляжу, лошадь пасётся. И седло на ней.
А всадника нет, не иначе, как убит всадник.
Беляк — к лошади.
— Стой! — закричал я. — Не смей!
А в голове стучит: «Верхом удерёт... верхом удерёт...» Вдруг лошадь наострила уши. Где-то в стороне заржал конь.
«И-ги-ги-ги!» — ответила лошадь и вся встrepенулась.
Тут пошёл с обеих сторон конский разговор.
И только полковник протянул руку, чтобы схватить лошадь за уздечку, как она побежала к коню, на его ласковые призывы.
А коня-то и не оказалось! Это знаете кто подманил лошадь? Дорофеич — наш Старый Солдат.
Он же меня и в седло посадил.
Ещё не доводилось мне быть конником. Но ничего — из седла не вывалился.
Догнал беляка.

КАК СУДИТ НАРОД

Теперь я увидел негодяя в лицо.
Так вот он, палач, рубивший топором Люльку, подсылавший шпионов и диверсантов, продажная шкура...
— Стой, — кричу, — бандит! — и занёс над головой гранату. — Руки вверх!
Но в последнюю минуту подоспел Старый Солдат.
— Повремени-ка, Петруша, с гранатой, — сказал он. — Пусть народ его судит.
Полковника-белогвардейца судили в Москве.
По приговору военного трибунала бандита расстреляли.
А бронепоезд «Красный воин» плечом к плечу с другими частями Красной Армии продолжал громить врагов, пока не была достигнута на всех фронтах полная победа.

КАК СТАРЕНЬКАЯ БУДЁНОВКА НЕ СТАРИТСЯ

Я кончаю рассказ.

Всё это мне напомнила будёновка. Вот она. Старенькая уже, мы вместе с нею состарились.

Я впервые надел её в те далёкие дни, когда, парнишкой, на фронте, вышел из госпиталя.

Подарил мне её на прощание будённовский конник.

Он тоже лежал в госпитале и был очень изранен.

«Мне уже, хлопец, не бывать на фронте, — сказал конник. — Воюй за меня».

Но будёновка была мне велика. Оксана ушла её, сделала впору. Кстати, она ведь жива, тогдашняя девчонка. Теперь она опытный доктор. Живёт в Киеве.

Дорофеича, нашего Старого Солдата, крестьяне пригласили в деревню. Сразу же выбрали председателем сельсовета и говорят, что наш мастер на все руки здорово наладил колхозное хозяйство.

Некоторые другие ребята с бронепоезда тоже ушли в деревню.

Остальные подались на заводы, на шахты, на железную дорогу.

Командир вдруг признался нам, что он школьный учитель.

Но перед тем как уйти в школу, собрал местных ребят, свёл их на могилу Люлька.

С тех пор она всегда убрана цветами.

Заботятся ребята и о других могилах наших бойцов.

Но мы не забываем, что есть ещё у нашего государства враги на свете.

И когда нам, старым бойцам, случается свидеться, запеваем песню, в которой поётся:

Мы — мирные люди,

Но наш бронепоезд

Стоит на запасном пути!



ГОЛОС ЛЕНИНА



В гражданскую войну наша бригада как-то расположилась на отдых. Выдалось время помыться в бане, постираться и как следует выспаться после бессонных боевых ночей и походов.

На ближайшую железнодорожную станцию прибыл политвагон, много дней катившийся от самой Москвы, с попутными поездами. Это была обыкновенная теплушка с тюками центральных газет, брошюр и листовок. Посредине — печурка, на ней — солдатский котелок и чайник. Когда вагон добрался до нашей станции на Украине, от всех его грузов не осталось почти ничего.

Бойцы, приехавшие на тачанке за литературой, очень огорчились и принялись совестить сопровождающего вагон.

— Эх ты, кочерыжка капустная! Распустил всё по тылам — а к нам, в боевую бригаду, с поскрёбышами!

Сопровождающий — разбитой паренёк с грозным маузером на самодельной лямке — сконфуженно мялся, пока бойцы, топая по гулкому вагону, подбирали разрозненные газеты и листовки. Кончилось тем, что он решил откупиться. Открыл фанерный чемодан с висячим замком и отдал бойцам граммофонную пластинку, которую приберегал, видимо, для какого-то другого случая.

Трудно описать ликование в бригаде, когда тачанка на взмыленных конях прикатила со станции и ездовой закричал с облучка:

— Ура, товарищ! Пластинка... Речь Ленина!

А второй, сидевший в тачанке, обхватив руками и ногами ворох литературы, которую трепал ветер, вскочил и помахал над головой пакетом:

— Вот она! Вот она!

В политотделе был граммофон — ящик с горластой трубой, похожей на медный контрабас в духовом оркестре. В ту пору и граммофоны попадались не так уж часто. Раздобыли один на бригаду, да и тот был теперь чиненый-перечиненый. Ему ведь тоже доставалось в боях. На трубе пестрели заплаты, поставленные бригадными кузнецами. Эти ребята ловко ковали лошадей, но нельзя сказать, чтобы столь же удачно «подковали» граммофонную трубу. Она дребезжала и искажала звуки.

В этот день все учебные занятия в бригаде прошли образцово. Сами бойцы пустили слух, что тот, кто не постарается в стрельбе или на тактических занятиях в поле, пусть и не помышляет услышать голос Ильича.

В бригаде было едва ли меньше тысячи штыков и сабель. Городок небольшой, подходящего помещения, конечно, не нашлось, и бойцы собрались на лугу. Сколотили помост для граммофона, а сами сели в несколько рядов полукольцом.

Собрание было торжественным. Вынесли знамя. Комиссар сказал речь о мировом империализме. Потом помост покрыли кумачом и на нём водрузили граммофон.

Но куда повернуть трубу?

— К нам, в нашу сторону! — закричали сотни людей с фланга.

— Нет, сюда поворачивай, сюда! — кричали с другой стороны. — Они и так услышат. К ним ветерок!

— Не замай, не трогай! Правильно стоит! — Это были голоса из центра.

Устанавливающие граммофон бойцы растерянно поглядели на комиссара. Комиссар поднял руку, но этого оказалось недостаточно, чтобы водворить спокойствие. Тогда он снял трубу с ящика и прокричал в неё, как капитан с борта корабля:

— Товарищи, хватит спорить! Постыдились бы в такой торжественный момент. Объявляю: пластинку прокрутим несколько раз, с прямой наводкой трубы на все подразделения. Ясно?

Гул одобрения, все смолкли и, как на чудо, глядели в жерло граммофона.

И вот она, наконец, речь Ленина!

Ильич говорит из Кремля... За тысячи вёрст — а вот как слышно:

будто сам здесь, в кругу бойцов, будто думам солдатским внимает и тут же, в этой самой речи, и отвечает на них...

«Капиталисты Англии, Франции и Америки, — голос из трубы отчеканивал каждое слово, — помогают деньгами и военными припасами русским помещикам... желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет. Этому не бывать. Красная Армия сильна тем, что сознательно и единодушно идёт в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за Советскую власть. Красная Армия непобедима».

Прослушали пластинку раз. Прослушали два и продолжали слушать ещё и ещё. За простыми словами Владимира Ильича крылась такая мудрая правда, что от повторения речи у каждого слушателя только ярче разгорались глаза.

Долго, очень долго слушали бойцы бригады пластинку.

— А почему, товарищ комиссар, пластинку разным голосом пускаете: то высоко, то низко, то середина на половину. Какой же настоящий-то голос у Ленина?

Комиссар заглянул в трубу, однако не стал её порочить. Распустил на себе ремень, перепоясался. Потом снял суконную фуражку, почистил рукавом. А всё молчит. Наконец признался:

— Хлопцы... Я ж с Донбасса, коногон из шахты. Пытаете, какой голос у Ленина? Та я ж сам не ведаю. Бои да бои, а за боями як в Москву попадёшь?

Опять заговорили бойцы всей бригадой. Горячась, спорили. Потом призвали на помощь комиссара:

— Товарищ комиссар! Голосовать надо!

Большинством решили, какой голос у Ленина.

Ясно: громовой. На весь мир звучит.



САПЕР РЕБРОВ



1

Это было в 1920 году. Будённый со своей конницей преследовал отступавших белогвардейцев. Красные войска так их потрепали, что теперь белогвардейцы уклонялись от боя. Они уходили всё дальше и дальше на юг, рассчитывая получить там подкрепление.

Надо было нагнать их, дать бой — и разгромить.

Будёновцы совсем уже стали настигать белых, но те успели переправиться через реку и взорвали за собой большой новый мост.

Что было делать? Строить новый мост? Это слишком долго — белые совсем уйдут. Починить взорванный мост? Не меньше надо времени.

И Будённый решил переправить свою Конную армию, со всеми пушками и обозом, по ветхому деревянному мосту. Этот мост стоял заколоченный, по нему давно уже никто не ездил.

2

На мост вытребовали команду сапёров.

Пришли сапёры, осмотрели мост. Глядят — мост дырявый, надо чинить.

А у сапёра инструмент всегда при себе — в походном чехле за спиной. Достали сапёры топоры, пилы и принялись сдирать с моста гнилые доски. Содрали гнилые, настлали новые. Где надо, и брёвна переменили.

Закончили работу и присели отдохнуть.

— Ну как, Ребров? Теперь переправятся? — спросил один из них

старшего в команде.

Ребров был сапёр опытный. За свою красноармейскую службу он не один мост починил. И если уж Ребров скажет: «Переправятся», — значит, смело пускай на мост и пехоту, и кавалерию, и пушки.

Но на этот раз Ребров ничего не сказал. Он медленно сдвинул на затылок свою шапку-будёновку и стал смотреть с моста на реку.

Широкая река была скована льдом. Но уже грело весеннее солнце, снег по берегам сошёл, и дело близилось к ледоходу. Лёд уже темнел, из белого стал сизым, и посреди реки во льду протаяли широкие полыньи. Там чернела вода.

— Этот лёд и суток не простоит. Сегодня тронется, — вдруг сказал Ребров.

В команде встревожились.

— Как же быть теперь, а? — заговорили сапёры. — Ведь мост едва держится... Сломает его, обязательно ломает льдинами!

Тут к Реброву подошёл старый бородатый сапёр.

— Гонца надо к будёновцам послать, — сказал он.— Давай, я сбегая. Может, ещё успеют переправиться!

И бородатый сапёр, перекинув свою винтовку за спину побежал через поле в деревню.

А Ребров тем временем разыскал на берегу лодку. Лодка всегда может на реке понадобиться.

Ребров стал укладывать в лодку багры, якоря, якорные канаты, спасательные пояса — приготовил всё, что нужно.

Поглядел он на реку, а лёд на реке всё темнеет да темнеет — как туча перед грозой...

«Худо будет, — подумал Ребров, — если ледоход застигнет армию на переправе».



3

Армия Будённого, в ожидании починки моста, стояла по окрестным деревням. И вот двинулась конница к мосту. Все дороги, от самого горизонта, почернели от будённовских полков. Приближаясь к реке, полки стали вытягиваться в ниточку по одной дороге: эта дорога вела прямо на мост.

Всё ближе подходят, всё ближе... Подковы лошадей звонко цокают по мёрзлой земле.

И вот наконец первые ряды кавалеристов вступили на мост.

Впереди ехали бойцы с шашками наголо. Один из всадников держал у стремени тонкое древко, на древке колыхалось красное бархатное знамя.

Ребров взял под козырёк.

— Первый будённовский полк, — шепнул он сапёрам, проводив глазами знамя.

Кавалеристы шли тесными рядами. Вот четвёрка взмыленных

лошадей втащила на мост пушку. Пушка загромыхала по мосту. Ещё пушку провезли, ещё. Потянулись обозы. За обозами — опять всадники...

Уже завечерело, когда первый полк переправился на другую сторону. А когда переправился второй полк, стало уже совсем темно.

Наступила ночь. Ребров в темноте едва различал всадников.

Ёжась от холода и кутаясь в полушубок, Ребров покрикивал:

— Скорее, товарищи, скорее, пока лёд не тронулся! Но ему никто не отвечал. Где же тут пойдёшь скорее, когда такая теснота на мосту!

Так, поторапливая конников, Ребров простоял всю ночь. «Только бы переправились... Только бы успели», — твердил он про себя.

Стало светать, с реки потянул ветерок.

Вдруг среди гула проезжающих пушек и топота конницы Ребров расслышал какой-то шелест. В первую минуту он даже и не сообразил, что это такое: словно лес зашумел. Но поблизости леса не было.

Глянул Ребров на реку — и тут-то он понял, какой это шелест...

— Ледоход!

Ребров бросился на берег.

За ним побежали сапёры.

4

А реку уже нельзя было узнать. Всё вдруг на реке переменялось. О берега, ещё покрытые льдом, бились мутные волны. Порывистый ветер срывал пену и окатывал сапёров, теснившихся на берегу, холодными брызгами... По всей реке быстро плыл лёд. Перед мостом синие толстые льдины громоздились одна на другую, лезли вверх по столбам, почти достигая перил, и с тяжёлым плеском шлёпались в воду. Льдины срывались с моста, а на их место уже громоздились другие... Тёмные от времени столбы под мостом сразу побелели, как выскобленные кости.

Мост весь скрипел, он ходил ходуном, но переправа продолжалась: будёновцы спешили на другую сторону.

А льдины подплывали к мосту — всё крупнее и крупнее...

— Скорее, ребята, взрывать лёд! — крикнул Ребров. Он подбежал к повозке с сапёрными материалами и сдёрнул с повозки брезент. — Берите ящик!

Сапёры подхватили на руки железный ящик с динамитом.

— Тащите в лодку!

Ребров побежал вперёд и столкнул лодку на воду.

Все расселись по местам. Гребцы взялись за вёсла.

— Отчаливай!

5

Расталкивая лёд баграми, сапёры выплыли в лодке на середину реки. Четверо гребцов изо всей мочи работали вёслами. Ребров стоял у руля и поворачивал лодку то вправо, то влево, выбирая дорогу.

Лёд бился о борта лодки. Часто льдины обступали лодку со всех сторон и начинали кружить её на воде, как скорлупу, но никто не обращал на это внимания. Все следили только за тем, чтобы не подпустить к мосту большую льдину. Большая льдина может, как ножом, срезать столбы под мостом.

— Готовсь! — крикнул Ребров.

Вот она, льдина. Широкая, как улица. По льдине расхаживают вороны.

Гребцы бросили вёсла, схватили багры и подтянули лодку на баграх к самой льдине.

— Давай заряд! — скомандовал Ребров.

Сапёры раскрыли ящик с динамитом. Бородатый сапёр выхватил из ящика динамитный заряд, похожий на коробку с желе, и прыгнул на льдину. Он побежал по льдине в самый дальний её конец. Став на колени, сапёр выдернул из заряда запальную проволочку и пустил заряд под лёд. А сам во весь дух прибежал обратно и с разбегу прыгнул в лодку.

— Гребите! Живей! Навались на вёсла!

Лодка отплыла в сторону. Все смотрели на льдину.

Глухой взрыв. Лодка вздрогнула.

И вся огромная льдина белым куполом выгнулась над водой. В ту же секунду её пробил столб воды и пены.

В воздухе долго ещё висели брызги и играли радугой на утреннем солнце. А льдины как и не было. Только мелкие осколки льда покачивались на волне. Течение уносило их под мост.

Но приближалась другая льдина. Ещё льдина, ещё...

Лодка чертила воду во всех направлениях. Сапёры проворно подкладывали под лёд заряды. Гул и грохот стояли на реке.

6

Много часов уже плавали сапёры в своей лодке. Устали, проголодались, но зато и поработали хорошо. Железный ящик с динамитом был уже наполовину пуст.

— Ну, давайте отдохнём, ребята, — сказал Ребров. — Отстояли мост! Теперь плывёт только мелочь, а это уже не опасный лёд...

Сапёры разломали каравай хлеба. Потом каждый взял себе по ломтю сала. На воде да в холод сало — лучшая еда. Раз, другой откусил — вот уже и сыт и согрелся.

Гребцы, закусывая, легонько подгребали вёслами.

На реке было тихо. Только с моста доносился топот коней и гул проезжавших пушек.

— Вот армия пошла!.. — заговорили сапёры. — Полную ночь шли. Мы уже обедаем, а они всё идут. Ну, теперь уже белым конец. Как считаешь, Ребров, ведь прикончат теперь генералов?

— Цыц вы! — вмешался бородатый сапёр. — Не галдите! У беляков уши длинные.

Молодой сапёр его перебил:

— Да кто же услышит наш разговор? На реке-то!

Все оглянулись по сторонам. Берега были далеко, лодка плыла посредине реки.

Но говорить всё-таки стали шёпотом.

— Ребров, а Ребров! — заговорил рыжий сапёр по прозвищу Веснушка. Он сидел верхом на ящике с динамитом.

— Ну? — отозвался Ребров.

— А ведь по нашему мосту, наверно, и сам Будённый поедет. Вот бы поглядеть на Будённого!

— Будет время, ещё поглядишь...

— А сам ты когда-нибудь видел Будённого?

— Потом расскажу, — сказал Ребров. — У города Царицына я его видел. В бою вместе были.

— Ты вместе с Будённым? Вот здорово! И ты с ним разговаривал?

Все сразу, придвинулись к Реброву.

— Чудаки вы, ребята, — усмехнулся Ребров. — У Будённого тысячи народу. Где же ему с каждым разговаривать.

— А какой он из себя, Будённый? — опять спросил Веснушка. — Наверно, большого росту?

— Нет, не очень большого. В кавалерии человек лёгкий должен быть. Ему верхом скакать.

— Ну, а всё-таки, какой он с виду? — не унимался Веснушка. — Говорят, усы у него длинющие!

Ребров поправил на себе шапку и больше ничего не сказал.

— Ребров, а шапку эту, будёновку, ты где получил? У города Царицына?

— Там и получил.

Ребров налёг на руль.

— Давай гребни, гребни! Не видишь, под мост сносит!

Гребцы схватились за вёсла.



7

Вдруг один из гребцов вскрикнул:

— Ребята, что это на реке? Что это плывёт?

Над водой то показывались, то опять пропадали какие-то чёрные столбики. Словно огромная гребёнка высывалась из воды.

— Да это баржа! Целая баржа под водой! Откуда же это?.. Ребята!

— Откуда? Белые спустили, вот откуда! — перебил Ребров. — Тьфу с вашими разговорами! Расшибёт она мост!

Все в лодке вскочили, не зная, что делать. Схватились за багры... Нет, этим не помочь. Не своротишь такую штуку баграми.

Бросились к ящику с динамитом. Зарядом надо её хватить под днище.

Приготовили заряд, глядят в воду, глядят — вода тёмная, взбаламутило её ледоходом, а баржа вся под водой. Никак не подвести под неё заряд...

— Давай канаты! — закричал Ребров. — Лови баржу, зачаливай за

столбики! Не подпускай её к мосту!

С лодки стали бросать канаты с петлями. Но все суетились — и канаты шлёпались мимо.

— Да так разве зачаливают? Ну! — Ребров сам схватил канат, не спеша прицелился и набросил канат на столбик.

— Гребь скорее! К берегу её! Оттаскивай от моста!

Гребцы ударили вёслами. Канат натянулся. Баржа начала медленно поворачиваться носом за лодкой. Но столбики у баржи были мокрые, склизкие, и петля сорвалась со столбика.

Баржа качнулась, нырнула под воду — и выплыла ещё ближе к мосту. Сапёры на лодке пустились за ней вдогонку.

— Якорем её! Цепляй якорем!

Веснушка метнул в баржу якорь. Потянул канат.

— Есть! Держит!

Тут гребцы сбросили с себя полушубки, шапки, засучили рукава — и уж налегли они на вёсла! К вёслам подскочил и бородатый сапёр и Веснушка — все бросились помогать гребцам.

«Рраз-два... рраз-два...» — гребли сапёры.

Минуту гребут, две гребут... пять минут... десять... и ни с места.

Тяжёлая баржа, да ещё полная воды, не поддаётся. Уже взмокли все. Хрипло дышат...

Гребут сапёры, не переставая гребут, чтобы отъехать от моста. А мост всё ближе, всё ближе. Словно вырастает перед глазами...

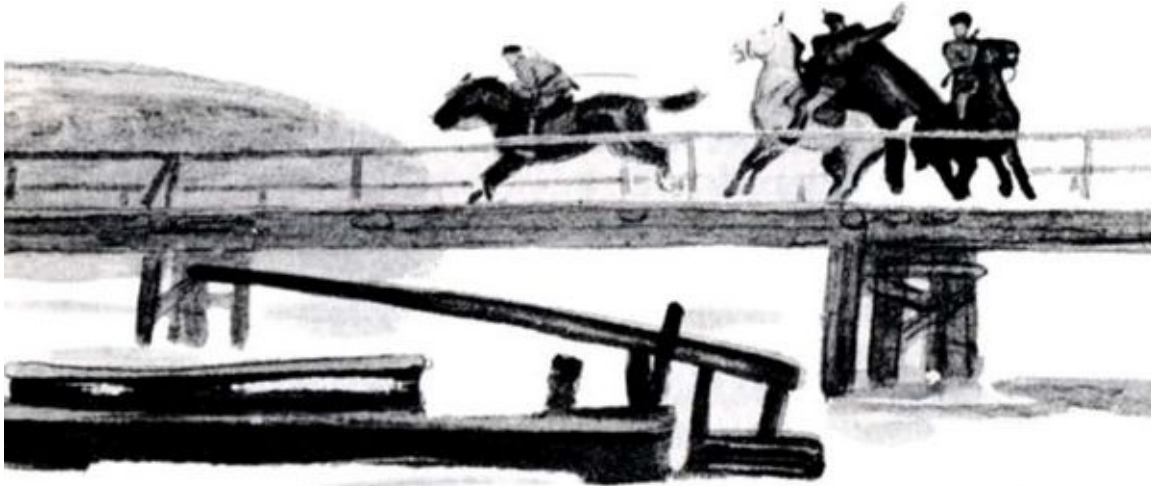
Уже можно разглядеть на мосту каждого кавалериста.

Уже видно, как трепещут красные ленточки в гривах лошадей... Горячие лошади танцуют под всадниками.

— Ребята, ребяташки! — вскричал Ребров. — Гребь! Если не оттащим баржу — беда...

А баржу уже заметили с моста. Ехавший перед полком командир высоко взмахнул рукой. Затрубила кавалерийская труба — и все на мосту остановились.

Горячие лошади попятились под седоками, иные взметнулись на дыбы.



8

— Держись! — только и успел крикнуть Ребров.

Баржа, попав перед мостом на быстрину, опрокинулась набок, рванула с лодки канат, и канат, плеснув, исчез под водой. Лодку отбросило в сторону. А баржу прижало к мосту.

Сапёры замерли.

— Уходите! Уходите с моста! — закричали они кавалеристам.

Кавалеристы стали поворачивать лошадей.

Всё бурлило, всё кипело кругом. Лодка прыгала по волнам, и ледяная вода окатывала гребцов.

— Давай к барже! — крикнул Ребров.

Сапёры выставили вперёд багры и с размаху вонзили их в грязный, склизкий борт баржи.

— Держите? — спросил Ребров.

— Держим!

Ребров толкнул ногой крышку железного ящика, и она с грохотом раскрылась.

— Ты что задумал? — испуганно сказал бородатый сапёр. — Баржу — зарядом!

Но Ребров словно не слышал его. Он стоял и медленно застёгивал на себе полушубок.

Потом он схватил конец запасного каната, просунул руки в петлю и прыгнул в воду у самого борта баржи.

Мелькнула в тёмном омуте его нога, мелькнула шапка-будёновка — и Ребров пропал из виду.

Бородатый сапёр, опомнившись, закрепил конец каната за уключину

да ещё обеими руками схватился за конец, приготовившись сразу вытащить Реброва, как только тот подаст сигнал.

9

Ребров вынырнул без шапки. В волосах льдинки. Губы, нос посинели, а он улыбается:

— Удалась разведочка! Готовь, ребята, удлинённый заряд!

— Да ты сам-то... — закричал на него бородач. — Не русалка ведь... Околеешь в воде! — И втащил Реброва в лодку. — Согрейся покамест!

Ребров глотнул горячего из фляги — и сразу к ящику с динамитом.

— Доску!

Доски не оказалось. Но Ребров не растерялся. Схватил багор.

— Отрубай половину! Не обязательно на доске крепить заряды. С багром-то мне ещё сподручнее!

Через какую-то минуту Ребров опять прыгнул в воду, на этот раз унося с собой полбагра с жалом. Вдоль древка были закреплены заряды — впритык один к другому. У крайнего заряда — струнка с пуговкой: только дёрнуть за пуговку — и займётся бикфордов шнур.

Выплыл Ребров.

— Есть! Амба теперь барже! Гребите в сторону!

Никто не мог понять, что он там под водой устроил. Да и спрашивать не время — тут только на вёсла наваливайся, отгоняй лодку.

А потом Ребров сам рассказал, как действовал. Баржа дырявая — с такой провозишься, если совать в неё как попало заряды. Вот он и придумал один длинный заряд просунуть поперёк днища. Была бы доска с зарядами — тоже возня, привязывать её надо, а багор — р-раз! — и Ребров вонзил его куда надо.

10

— Гребите! Уходи, ребята! Сейчас взорвёт!

Гребцы оттолкнулись от баржи и налегли на вёсла.

«Бу-у-ух...» — прогудел подводный взрыв.

Из-под моста хлынула пена и закрыла всю реку, как скатертью.

А вместе с пеной течение уносило куски разбитого днища, чёрные склизкие брёвна, доски, всякий мусор от баржи.

— Пошла-поехала бывшая баржа! — весело кричали из лодки. — Туда тебе и дорога! Молодец Ребров!.. Гляди- ка, уже опять кавалерия по мосту идёт!

Ребров лежал в лодке, накрытый горой полушубков. Он высунулся,

взглянул на мост — и вдруг стал ощупывать свою голову.

— Ребята, а где же моя будёновка?

— Будёновка? — Сапёры переглянулись. — Да ведь ты прямо в ней в воду прыгнул. Утонула твоя будёновка.

— Ребята... — У Реброва дрожали губы от озноба. — Поищите будёновку.

Но где же искать шапку в реке?

— Давай скорее к берегу, — сказал бородатый. — Отогреть его надо, а то заболит. Вон туда давай, вон к избёнке.

11

В избе жарко натопили печку. Реброва раздели, уложили на лавку. И принялись его все растирать и отпаивать кипятком.

— Пей, пей давай! — приговаривали сапёры. — Ну вот, уже и зарумянился. Крепкий ты, Ребров, парень!

Вдруг скрипнула дверь. Все оглянулись. На пороге стоял военный с шашкой на боку и в шпорах.

Стоит, поглаживает чёрные усы и улыбается.

— А где тут у вас герой, который мост отстоял?

Ребров приподнял голову, взглянул на военного — да так и скатился с лавки кубарем:

— Будённый!

Ребров спрятался за спины товарищей.

— Куда там прячешься? — сказал Будённый. — Выходи, выходи сюда, дай на тебя поглядеть.

— Да я... я без штанов... — пробормотал Ребров, заикаясь.

— Ну, одевайся, коли так.

Ребров заторопился. Натягивает ещё не просохшие штаны, а ноги в дыры проскакивают. Это он под водой о баржу их порвал, да сразу не заметил... Наконец оделся и ремнём подпоясался.

Шагнул вперёд — встал навтыжку.

— Как фамилия? — спросил Будённый.

— Ребров. Сапёр Ребров.

— Ну, сапёр Ребров, — сказал Будённый, — говори: какую ты хочешь за мост награду?

— Да что вы, товарищ Будённый! — Ребров даже попятился. — Ведь это же наша сапёрная работа!

Будённый обернулся к двери и позвал:

— Адъютант!

В избу вошёл адъютант. И Будённый приказал выдать сапёру Реброву новое обмундирование. Взамен порванного. И кобуру с револьвером. В подарок от Конной армии.

— Слушаю! — сказал адъютант и щёлкнул шпорами.

Будённый подал Реброву руку. Сказал:

— Благодарю. — Но тут же встревоженно покачал головой: — А ты, сапёр, не простудился в воде? Рука-то горячая... Гляди, а то я доктора пришлю.

— Да что вы, товарищ Будённый. Я совсем здоров! Вот только шапку в воде потерял... — И Ребров повесил голову...

Будённый рассмеялся:

— Ну, это не беда. Была бы голова на плечах, а шапка всегда будет.

— Да я будёновку потерял!

— А, вот оно что...

Будённый снял с себя будёновку и надел на голову Реброву. Обнял его и поцеловал.

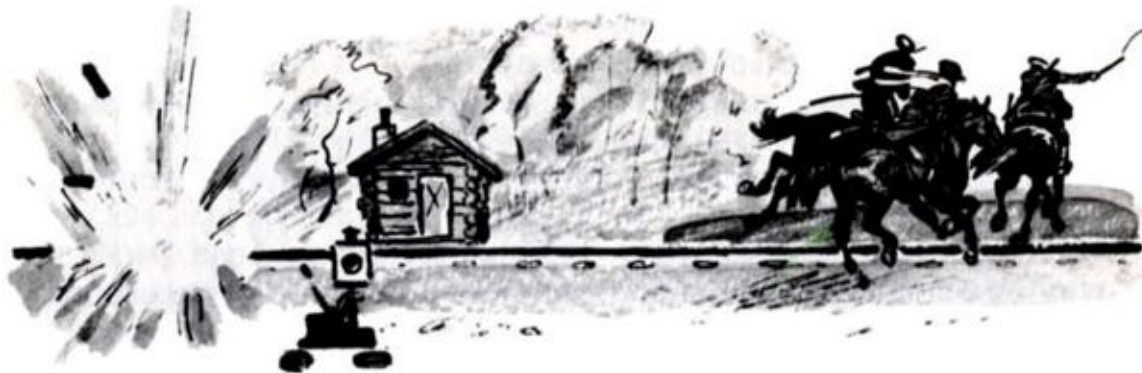
Ребров не успел и слова сказать. Хлопнула дверь — Будённого уже не было в избе.

Сапёры переглянулись.

— Что же ты, Ребров, говорил, что Будённому и разговаривать с красноармейцами некогда? А он, гляди-ка, даже в гости к тебе зашёл, — сказал Веснушка.

Ребров ничего ему не ответил. Отойдя в сторону, он примерял свою новую будёновку.

ДВЕНАДЦАТЬ ПОЛЕНЬЕВ



Эх, славная это штука — бронепоезд... Крепость на колёсах! Врагу не подступиться!

И всё-таки попали мы раз к белогвардейцам в западню, да так увязли, что не надеялись и выбраться. Говорю как командир: если бы не Паша Сироткин, наш пулемётчик, погибли бы мы все. И не слушать бы вам сейчас этого рассказа, а мне бы не рассказывать...

Был бой. Белогвардейская конница прорвалась через наш фронт и пошла разбойничать: жечь деревни, грабить крестьян, убивать мирных жителей.

Налетели белогвардейцы и на станцию, где бронепоезд стоял резервом.

Мы их, конечно, встретили как полагается. Со станции под нашими пулемётами они не знали, в какие ворота и выскакивать.

Но дело не в этом. Надо вам сказать, почему на станции мы в этот день стояли, а не на позиции. Снарядов из тыла ждали: снарядов не было, чтоб в бой идти, вот какое дело!

Вышвырнули мы белогвардейцев со станции, а они опять суются — с одной стороны, с другой... Артиллеристы мои прямо зубами скрежещут: ни одного снаряда, чтобы угостить налётчиков! Пустые пушки в башнях для остратки поворачивают.

А белых всё больше! Всё смелее насаждают.

«Тра-та-та... тра-та-та...» Только и успевают отстреливаться мои пулемётчики. Жарко приходится. Держимся на одних пулемётах!

Вдруг грохот позади поезда — и лёгкий сизый дымок над рельсами... Взрыв! Тьфу, как же это мы недоглядели за врагом? Вон они уже где —

белогвардейские конники скачут, удирая, во весь опор.

Пулемётчики дали по ним очередь, но поздно: те уже скрылись в лесу.

— Спокойно, — говорю, — товарищи, спокойно. Путь отрезан, но мы сейчас починим. Нам ведь это не впервой!

Успокаиваю бойцов, а сам вижу: мало что путь взорван; из лесу, что за спиной у нас, белые выкатывают пушки.

Мы — в западне.

Жутко подумать — сейчас начнут бить по бронепоезду! Если снаряды фугасные — броня не выдержит.

Одна у меня мысль: только бы успеть путь починить — выбрались бы из западни!

Уже к месту взрыва сползал разведчик, докладывает:

— А они, товарищ командир, только с одного боку путь испортили. Второпях-то. Всего один рельс и сменить — живо управимся!

Добрая весть ободрила бойцов.

Сами, не дожидаясь команды, сбросили рельс с грузовой площадки, которая всегда прицеплена к бронепоезду. Поднимаем рельс с земли — штука тяжёлая, толпой взялись. В полный рост и зашагали... А белые тут и грохнули из пушек. Вот они чего ждали: чтоб люди из бронепоезда показались!

Пошло нас семеро, а в вагон вернулось трое. Четверых на руках принесли.

Пулемётчики кинулись к пулемётам: «Держись, бандиты!»

Постреляли немного — и всё: в лентах патроны кончились.

Помрачнели бойцы. Головы повесили.

— Эй, белогвардейцы, — закричал кто-то через люк наружу, — бей фугасными, кончай бронепоезд! Твоя взяла!

Я приказал закрыть люки.

— Это что ещё за крики? — говорю. — Уже и паника? Как не стыдно! Дела наши, конечно, плохи. Снаряды, патроны кончились, бой вести нечем. И уйти не дают... Чего же он ждёт, белогвардеец, почему не расстреливает бронепоезд? А? Как вы думаете? Ведь пушки нацелены.

Бойцы стали высказывать разные догадки.

— Нет, — говорю, — товарищи, всё это не то. Заметили: по людям нашим стреляет, а по броне — нет... Ну? Да ясно же: белогвардеец задумал взять наш бронепоезд целеньким!

Бойцы оцепенели.

— Тогда остаётся... взорвать бронепоезд.

Я не согласился.

— А разве, — говорю, — мы всё испробовали, чтобы вырваться из ловушки? Белые не стреляют — это же нам на руку! Попробуем ещё раз и ещё раз чинить путь. Тут главное — в полный рост не показываться. Двинуться бы с рельсом ползком — и белогвардеец нас не заметит!

Бойцы ожили.

Я уже толкнул бронированную дверцу, чтобы вновь выйти из вагона, как вдруг голос за спиной:

— Обождите, товарищ командир. Зазря погибнете!

Это остановил меня Паша Сироткин.

— Обождите, — сказал опять Паша да и выпрыгнул в дверцу.

Я за ним.

Только мы выскочили — бах! бумм!.. — грохнули белогвардейские пушки.

Но мы с Пашей кубарем в канаву — и притаились.

Я шепчу:

— Паша, ты куда?

А он знай ползёт вдоль канавы.

Подполз к паровозу.

— Машинист! — кричит. — Какие у тебя дрова?

Машинист даже не сразу ответил. Этакую глупость человек спрашивает! Но потом заговорил из своей бронированной будки. Сердито, с насмешкой.

— Осина, — говорит, — берёза, есть сосна... А тебе не всё равно?

Паша опять:

— А может, дубовые полешки есть? Поищи, товарищ, дубовых полешек, пожалуйста.

Вздохнул машинист и загремел на паровозе дровами.

Одно дубовое полено выбросил в канаву, другое... Паша так и прижал их к себе.

Ещё полено шлёпнулось в канаву, ещё... Накидал машинист двенадцать дубовых поленьев.

— Хватит, — сказал Паша и тихонько засмеялся.

Потом пополз дальше с поленьями.

Я за ним. Тащу остальные поленья.

— Паша, — говорю, — да что ты такое задумал?

Паша своё:

— Обождите.

Подползли к испорченному рельсу.

Гляжу: Паша поленья накладывает — рядком, рядком в то самое

место, где куска рельса нет.

И ловко так действует — головы не поднимает! Так что ни одна белогвардейская пчёлка ни его, ни меня не ужалила...

...Бронепоезд медленно, качаясь, проехал по поленьям, а затем вихрем промчался мимо леса с затаившимися пушками. Белогвардейцы от неожиданности даже выстрелить не успели.

Вырвавшись из плена, раздобыли мы снаряды и пулемётные ленты — и снова в бой.

После боя, когда белогвардейцы были уничтожены, ребята окружили Пашу, стали допытываться: как это он такую ловкую штуку придумал с поленьями?

Паша рассказал.

Он работал прежде в шахте откатчиком. Вывозил из-под земли в вагончике уголь. А хозяин шахты был скупой. Пожалел рельсы купить, и Паша катал вагончик по деревянным брускам.

В бою Паша и вспомнил скупого хозяина.

СЛУЧАЙ НА МОРЕ



Это произошло тоже в гражданскую войну.

Балтийское море было тогда как суп с клёцками. Война — всюду мины под водой. Того и гляди, напорется боевой корабль — тут ему и крышка. Хоть не выпускай корабли из гавани. А как же не выпускать боевые корабли, если то с севера, то с запада Советской республике угрожает враг?

Короче сказать, приказали мне, старому моряку, расчистить кораблям дорожку. Дали мне для этого отряд лёгких тральщиков, самого поставили комиссаром.

Собрал я краснофлотцев.

— Ну, — говорю, — ребята, забирай невода, пошли в море рыбачить.

И объясняю, что не рыбку будем ловить, а морские мины — действовать надо осмотрительно.

Эти мины висят в воде, всё равно как воздушные шарики на привязи. Под каждой миной — донный якорь. А привязь отмерена такой длины, что снаружи мину и не видать. Даже небольшой корабль проплывёт над головой мины, не задев её. Эти чёрные шары караулят крупную добычу: крейсера, линкоры, транспорты.

Ещё раз я напомнил ребятам, что работать в море надо осторожно, но бояться нечего: мы на тральщиках поверху плаваем, а мины в глубине сидят.

Вышел мой отряд в море. А дело уже к зиме было — ветер — так и сечёт по лицу, по рукам, даже под бушлаты к тельняшкам забирается. Краснофлотцы только побрякивают да ёжатся.

— Ничего, — говорю, — на работе согреемся, ещё жарко будет!

А волну развело баллов никак на восемь, на девять...

Трудно работать, когда корабль пляшет на волне, да и тебя заставляет чечётку выплясывать. Но дело есть дело. Спустили мои кораблики тралы — эти самые невода — и поплыли рядышком.

Гляжу — сразу и добыча. Подсечённая тралом, всплыла мина — словно большой чёрный мяч из-под воды выпрыгнул.

С тральщика по ней из пулемёта: «Тра-та-та-та!»

Бухнул взрыв, вскипело море — и мины нет.

Ещё мина позади другого тральщика.

Там её какой-то меткий стрелок щёлкнул из винтовки.

Пошла работа! Грохот в море, столбы воды и пены над волнами.

А я со своего катера за краснофлотцами приглядываю. Выравниваю корабли, чтобы шли намеченным курсом.

Вдруг на одном из тральщиков на мачте сигнал:

«Терплю бедствие».

«Что там, — думаю, — такое?» Спешу выяснить.

Приказываю вздёрнуть в ответ остренький красный флажок с белым глазком. Это значит:

«Ясно вижу».

Затем другой флажок:

«Иду на помощь».

Развернулись — и полным ходом на катере к тральщику.

А оттуда кричат в рупор:

— Не приближайтесь! Опасно!

«Ладно, — думаю себе, — кричите, я постарше и поопытнее вас», — и подошёл вплотную к кораблю.

Перепрыгнул к ним на палубу.

А на людях лица нет. Мечутся в испуге — то сюда, то туда.

— Что случилось? — кричу.

А мне в ответ — тоже криком:

— Бродяга пристала! Не отвязаться!

Я так и обмер. «Бродягами» у нас окрестили мины, которые, сорвавшись с якоря, всплывают на поверхность. Это бывает после штормов. Носятся по морю, бродят...

И вот она, эта бродячая смерть, у борта корабля.

Тральщик пляшет на волне, и мина рядом пляшет. Да так близко, что её расстрелять нельзя: вместе с миной и корабль взлетит на воздух.

— Багры! — кричу. — Баграми её оттолкните! — И сам за багор.

С кем-то вдвоём упёрлись баграми в чёрный шар.

— Осторожно, — говорю, — друг, по рогам не стукни её, осторожнее, осторожнее... Теперь толкаем; в сторону её, в сторону, подальше от борта...

— Есть, товарищ комиссар, — твердит, обрадовавшись, краснофлотец с багром. — Кажись, избавились от смертушки...

А мина вдруг застопорилась. Не желает больше слушаться багров. Словно кто привязал её к кораблю!

Что за напасть такая! Гляжу на воду, вглядываюсь вглубь — так и есть: под водой словно струна темнеет между кораблём и миной.

— Минреп! — невольно вырвалось у меня.

Вы, может, не поймёте, а моряки-то сразу поняли. Минреп — это привязь, канат, который держит плавучую мину на якоре. А бродяжка этим своим хвостом как-то сумела зацепиться за корабль.

— Минреп! — кричу, а сам не выпускаю из рук багра — удерживаю мину на расстоянии. Вдвоём стараемся, вместе с краснофлотцем. — Надо, — кричу, — перерезать минреп! Живее, ребята!

Нашёлся смельчак. Скинул шинель, разделся на ветру и — с разбегу шлёп в море.

Сомкнулась над ним ледяная вода.

Выплыл, молотит по воде ногами, чтобы согреться, ухватился рукой за минреп, да, вижу, плохо парню, синееет... Не успели ему и нож подать, как самого пришлось вытащить. Завернули его в тулуп — и в каюту.

— Держи-ка! — Я передал свой багор старшине тральщика.

Начинаю сам раздеваться. Сам решил нырять.

А тут — машинист. Вылез из трюма грязный, просаленный, показал белые зубы.

— Меня, — говорит, — мороз не возьмёт. Я салом смазанный. Давай, комиссар, нож!

Ножик взял в зубы, разбежался — и бух в воду.

Ну и пловец, гляжу. Любо поглядеть, как рыба! А минреп пересёк с одного маху, только нож блеснул лезвием.

Тем временем спустили шлюпку. Ребята на шлюпке, придерживая мину за оставшийся у неё хвостик, оттащили подальше от корабля. А уж расстрелять её ничего не стоило.

Вот и всё, что случилось с нами в море.

После этого, уже без приключений, мы расчистили дорогу кораблям.

ПРОЗРАЧНЫЙ ДОМИК



По-разному называют артиллеристы этот домик: кто говорит — «прозрачный», кто говорит — «воздушный». А сапёры, которые домик построили, назвали его «Стой — не шевелись».

Дело было летом, в лагере. Артиллерист я молодой, попал в лагерь первый раз. Слышу кругом все эти разговоры про домик, а сам только глазами хлопаю: ничего не понять.

— Что, — спрашиваю, — за домик? Где такой? Хоть бы поглядеть.

А товарищи посмеиваются:

— Попадёшь на стрельбы — узнаешь!

Не стал я приставать с расспросами. Знаю своё дело, несу солдатскую службу.

Пришло время стрельб.

Приехали на место.

Гляжу — поле передо мной, конца-края нету. Трава, луговые цветы, тут и там кустарник — даже в глазах зарябило.

Объясняют мне:

— Это полигон. Ещё с ночи вокруг поля караул выставлен, чтобы случаем не забрёл сюда грибник или какой отдыхающий.

А тут уже и пушку выкатили на позицию.

Команда:

— По местам!

Бросились ребята к пушке. А меня командир наводчиком ставит, мне наводить пушку на цель. Боязно с непривычки, но говорю себе: «Не робей, Ваня, покажи, что не напрасно тебя зиму учили...»

И тут показывает мне командир домик в поле. Далеко, у самого леса.

— Рассмотрите, — говорит командир.

Рассматриваю. Чистенький такой домик, беленький, с красной крышей.

— По домику!

И командир даёт команду стрелять.

Навожу я пушку, а домик жалко. «Эх, — думаю, — конец тебе, домик, пришёл. Разлетишься ты сейчас в щепки!»

Заложили снаряд.

— Огонь!

Дёрнул я за шнур, грохнула пушка... Смотрю — устоял домик.

Ишь ты, мал, да крепок! Не деревянный, видно, а кирпичный.

Ещё снаряд заложили. Прицелился я, выстрелил.

Стоит домик.

В третий раз ударил... Стоит. Никакого последствия.

«Что-то крепкий уж очень, — думаю себе. — Не из гранита ли сложен? Кирпич бы уж развалился».

Тут я раз за разом пустил три снаряда. И гранит раздолблю!

Смотрю в бинокль — и глазам не верю... Хотя бы царапина на стене, хоть бы кусок штукатурки обвалился!..

— Стрелять не умеешь, — зашептали вокруг меня товарищи.

— Все снаряды мимо...

А я чуть не плачу.

«Ах ты, дрянной домишко! Да я ж тебя...»

Но командир не дал больше стрелять.

— Отбой!

И побрели мы к домику. Командир впереди шагает, я следом иду. А рядом со мной товарищи — молчат, насупились.

«И чего, — думаю, — смотреть? Зачем идём? И без того видно — никуда я не годный наводчик...»

Вдруг кто-то из ребят схватил меня за руку:

— Гляди! Командир-то...

Я и рот разинул.

Командир наш сквозь домик прошёл. Не в дверь, а прямо через стену. И опять белая стена.

Мы переглянулись.

— Давай на помощь, ребята. Тут что-то неладно!
И пустились мы во весь дух выручать командира.
Подбежал я к домику, гляжу... А он знаете из чего?
Из верёвочек. Навешены густо верёвочки, с бантиками из мочалы.
Сверху всё красным покрашено, пониже белым... Никакого и домика нет —
одна занавеска.

Раздвинул я руками верёвочки. Ребята за мной.

А тут, позади занавески, — яма на яме, яма на яме.

— Видите? — сказал командир. — Это всё ваши снаряды. Все по
домику. Все в цель. Ставлю вам за стрельбу отлично.

— Товарищ командир... — забормотал я. — Да как-же это всё? Для
чего занавеска?

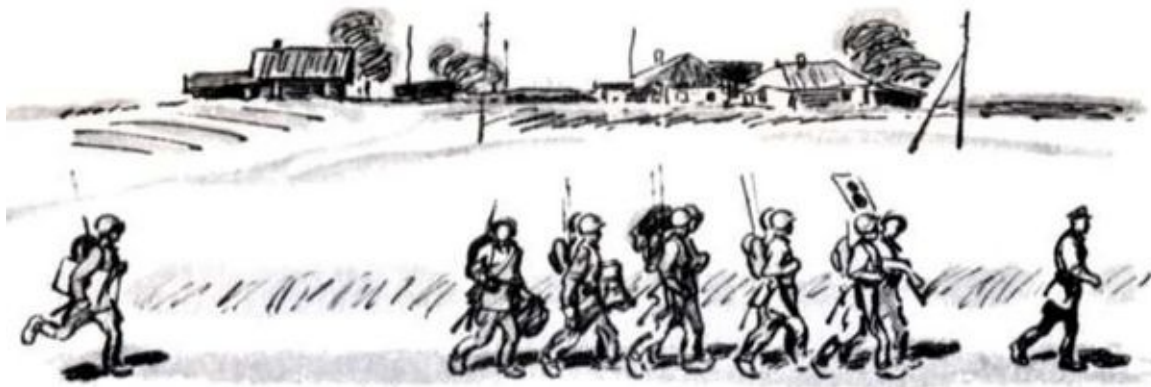
А командир и говорит:

— Это самая прочная стена — крепче деревянной, крепче каменной:
пролетел снаряд — и опять верёвочки сошлись, опять домик целый. А
ставить бы здесь настоящие дома — так на наших артиллеристов не
напасть. Ведь как стреляют: пострелял — и дом долой, пострелял — и
дом долой. Ну-ка, сколько домов надо на всех?

Я прикинул в уме: да, надо целый город выстроить.

А сапёры — вот хитрый народ: одной занавеской обошлись!

ЗЕРКАЛЬЦЕ



— Полевое ученье с маскировкой! — объявил командир.
Бойцы наперегонки бросились в кладовую.

А наша солдатская кладовая — чего-чего там только нет! И камни серые, валуны огромные: положить такой посреди дороги — объезжать надо. И груды жёлтых осенних листьев. И пни кряжистые. И снопы. И кучи бульжника. И кочки болотные.

Вмиг расхватили всё бойцы. Кто пень схватил — да на голову, кто кучу бульжника под мышку, кто камень-валун, кто кочку.

Разобрали всё — и в поле.

А молодому солдату Степану Чижову не досталось ничего.

Стоит Стёпа, развёл руками и смотрит в глаза кладовщику.

— Что же вы, товарищ, такой непроторный? — сказал кладовщик.

Сказал и на себя в зеркало посмотрел.

— Берите вот муравьиную кучу. Только, предупреждаю, рваная. Я портному хотел снести.

А сам опять в зеркало, усики подкручивает.

Рассердился тут Стёпа, сдёрнул со стены зеркало — и в дверь.

Кладовщик за ним, а Стёпу только и видели.

Бежит Стёпа, догоняет товарищей. За плечами винтовка, а под мышкой зеркало.

«Для чего же я зеркало унёс? — подумал Стёпа и остановился.— Засмеют меня с зеркалом».

Посмотрел Стёпа назад — возвращаться далеко.

Глянул вперёд — а бойцы уже по полю рассыпались. Началось

учение. Кто под кочку болотную прячется, кто заползает в камень-валун, кто навешивает на себя кучу осенних листьев.

Завертелся Стёпа на месте, не знает, как и избавиться от зеркала. Хотел под куст его сунуть, да побоялся: ещё кто-нибудь невзначай раздавит.

И побежал Стёпа с зеркалом дальше.

Выскочил в поле. Лёг. И зеркалом заслонился. Стыдно товарищей.

А командир в это время уже начал обход. Проверку делает, кто как замаскировался.

Ступит шаг-другой и прищурится:

— Пень на голове косо сидит! Что это за маскировка? Поправьте, товарищ боец... А чья это нога вылезла из камня? Наружу нога, а противник вас в лоб пулей ударит!

Шагает командир, делает проверку. А Стёпа затаился позади зеркала, почти не дышит.

«Вот, — думает, — подойдёт командир, вот достанется!»

Глядит, — а командир мимо прошёл. Каждого солдата поправил, каждому солдату показал, как надо маскироваться, а его не замечает.

— Товарищ командир! — позвал Стёпа. — Извините, я...

Обернулся командир на голос — смотрит, смотрит, а Стёпу не видит.

— Да где же вы?! — крикнул командир.

Стёпа встал.



Командир удивился.

— Как же я вас не видел? А ну лягте, опять лягте.

Степа лёг и опять спрятался за зеркало.

Командир собрал к себе всех солдат:

— Видите бойца?

Смотрят солдаты, смотрят по сторонам...

— Нет, — говорят.

— А что видите?

— Да трава кругом... От ветра колышется.

— Замечательно, — сказал командир. — Это в зеркале трава отражается.

И к Стёпе:

— Передвиньтесь, товарищ боец. Вон туда, к дороге. Да ложитесь с зеркалом прямо на дорогу!

Стёпа лёг.

— Что видите? — обернулся командир к остальным.

— Вот здорово, — заговорили все. — Нипочём не догадаться, что тут боец лежит. Дорога и дорога, и в зеркале дорога.

Командир подошёл к Стёпе.

Поднял его из пыли, жмёт руку.

— Да как же вы придумали такую маскировку?

Степа помялся:

— Гм... гм...

— Понимаю, — кивнул командир. — Это у вас вышло случайно. Но из этого случая мы пользу сделаем.

И командир велел изготовить для бойцов зеркала, чтобы маскироваться от врага.

ГОЛУБЧИК



Был у нас в эскадроне конь Голубчик.

Когда его привезли к нам из колхоза, командир даже фотографа вызвал и велел сделать с Голубчика карточку. В газете карточку напечатали — вот какой конь! Поглядеть на него — залюбуешься: сам весь рыжий, с золотистым отливом, на лбу белая звёздочка, грива и хвост как шёлковые. А уж в ходу резвый — ни одна наша лошадь не могла с ним сравниться, всех обгонял!

А всадником был молодой призывник из того же колхоза. Он сам в колхозе этого коня вырастил. С ним и на службу пришёл к нам в кавалерию.

Звали молодого бойца Иван Мотыга. Серьёзный такой парень, к своему коню никого не подпускал.

«Ладно, — думаю себе, — дай случай, сяду на твоего коня — за хвост не удержишь».

А случая и ждать не пришлось. В воскресенье назначили в лагере для бойцов кино. Я был посыльным при клубе.

— Скачи, — говорит начальник, — в город, привези новую картину.

Я в конюшню да к Голубчику.

Оседлал коня, вскочил верхом и — ходу.

Пошёл конь, хорошо пошёл, с ветерком.

Канавы — он через канаву, изгородь — он махом через изгородь. Только в седле держись!

Впереди была речка.

«Ну, — думаю, — с таким конём нечего и крюк делать, на мост

заезжать. Напрямик перемахнём через речку!»

Вошёл конь в воду.

Я — ноги из стремян, чтобы сапоги не замочить. Сапоги на мне новые, хромовые. Выходной день, да ещё в город еду.

Конь в воду глубже, я выше ноги — под самый подбородок задрал.

И вдруг посреди речки конь остановился.

— Но, но, Голубчик, пошёл!

А он ни с места.

Чувствую — штаны уже подмокли, вода в карманы мне льётся.

Я его хлыстом, хлыстом!

А конь и ухом не поводит. Не больно ему. Хлыст по воде шлёпает, а конь под водой, только голова наружу.

Полчаса он продержал меня так — ногами кверху. Минута в минуту полчаса — словно часы не у меня на браслетке, а были у него перед глазами.

А потом вздохнул и вышел на берег.

Тут я сообразил, что он купался. Как раз в это время и как раз на полчаса Иван Мотыга водил его в речку купаться.

Ну, уж тут хлыст его достал. Стеганул я коня — он опять напрямиком по полю.

«Нет, — думаю, — шалишь. Теперь поедем по дороге. А то опять какой-нибудь фокус придумаешь. Так мы и кинокартину не привезём».

Выехали мы на дорогу. День праздничный — навстречу нам деревенские парни с гармошкой. Идут, приплясывают.

Гляжу — и конь мой пошёл вальсом... То ножку вправо, то ножку влево, приседает и на месте кружится.

— Товарищи, — кричу, — перестаньте играть!

А те хохочут. Гармонист ещё пуще заиграл — ещё быстрее подо мной конь закружился.

Вспотел я даже.

По счастью, гармонист марш заиграл. Тут мой конь, рванув с места, понёс меня дальше. Едва я из седла не вывалился, но уж рад был, что от музыкантов ускакал.

Ну, конь! Уморил!

А он шагает себе, хвостом помахивает, будто дело его и не касается.

Зло меня взяло.

— Сворачивай, — говорю. — Не видишь, куда дорога в город?

Да как рванул ему голову набок. А конь и повалился.

Подогнул передние ноги, встал на колени — и лёг, растянулся посреди

дороги.

Я забежал около него. Ах ты, беда! Надо же было так дёрнуть повод! Наверное, это сигнал ему: «ложиться».

— Голубчик, — говорю, — вставай, что ты! Мы же не на войне, чтобы ложиться. Никто в нас не стреляет. Гляди, я без винтовки. Ну же, поднимайся!

Толкаю коня, и хлыстом его, и за хвост кручу, — а он только рыжим глазом на меня щурится.

Бился я, бился около него и вижу: Иван Мотыга по дороге шагает. Идёт, не торопится, папироска в зубах. Пешком нас догнал.

Подошёл, шепнул какое-то секретное слово Голубчику в ухо — конь и вскочил на ноги.

Иван усмехнулся.

— Садись, — говорит, — поезжай за кинокартиной. Бойцы уже в клубе, и начальник ругается.

— Нет, — говорю, — спасибо. Он и в воде меня выкупал и в пыли вывалял. Поезжай сам на своём Голубчике!

Иван вскочил в седло и поехал в город.

А потом, уже в лагере, он назвал мне секретное слово.

— Мало ли на войне, — сказал Иван, — ранят меня или что, тогда возьмёшь моего коня, послужит он тебе. А поймают его враги... нипочём Голубчик не будет служить врагу!



КУСАЧКИ



Это щипцы такие — кусачки. Можно гвоздь перекусить, можно проволоку. Лежат щипцы в сумке у связиста с разным другим инструментом.

Работа связиста известная: связь прокладывать. Тут ему и помогают кусачки. Поглядеть на них — простые железные щипцы. А могут кусаться. И крепко кусаются, когда нападает враг.

Было это в годы Великой Отечественной войны в предгорьях Кавказа. Вот уже куда забрались наглые немецко-фашистские захватчики.

Наши войска укрепились среди скал и ущелий.

Стоят насмерть. Фашистам дальше не пройти.

Но сколько можно терпеть перед собой фашистские рожи?

В штабе знали, что солдаты рвутся в бой. Ребята геройские! Но для победы мало геройства. Враг сильный, хорошо вооружён, и чтобы уничтожить его наверняка, надо хорошо подготовиться.

Этим штаб и занимался. Каждую ночь из тыла наши артиллеристы поднимали в горы всё новые и новые пушки, миномёты и другую боевую технику.

Делалось всё в глубокой тайне. Наши наблюдатели зорко следили и за воздухом и за окрестностями гор. Опасались вражеских разведчиков.

В штабе шли последние приготовления к разгрому врага.

И вдруг разведка доносит: «Наши планы раскрыты! Фашисты пронюхали о наступлении и спешат поглубже зарыться в скалы».

В штабе переполошились. Надо менять планы и наступать немедленно, пока фашисты не успели запрятаться. А то как выдолбят себе в скалах норы — оттуда их никаким снарядам не вышибешь!

Решено было штурмовать врага на рассвете.

Начальник штаба расхаживал по землянке и беспокойно спрашивал:

— А как у нас связь с полками? Надёжна ли?

Каждый понимает, что нельзя вести бой без надёжной связи.

И связисты в эту ночь перед боем не смыкали глаз. То и дело они поднимали с аппаратов телефонные трубки — проверяли, как действует сигнал и хорошо ли слышно. Потом докладывали:

«Всё в порядке, товарищ начальник штаба. Связь действует!»

Но вот один из связистов встал от аппарата.

— А у меня не в порядке, — сказал он. — Осколком, что ли, царапнуло по проводам. Слышимость пропадает... Разрешите, товарищ начальник, пойти проверить линию?

Это был Казанов. Парень баскетбольного роста, он стоял перед начальником, упёршись головой в потолок землянки. И всё равно не мог распрямить колени.

— Идите, — сказал начальник, — и побыстрее возвращайтесь. Только одного я вас, Казанов, не пущу. А вдруг нарвётесь на засаду? Берите напарника.

Казанов усмехнулся в усы. Этот добряк великан всегда посмеивался над чем-нибудь.

— Товарищ начальник! — взмолился он. — Отпустите одного. С напарником мне только морока. Вдруг его ранят — нянчись тогда с ним!

Все в землянке рассмеялись. А Казанов, не мешкая, сумку с инструментом в охапку, голову просунул под ремень автомата — и за дверь!

Глядит — снаружи светло, взошла луна. Чёрная телефонная проволока так и поблёскивает между камней у нагорной дороги.

Казанов выждал, пока луна скрылась за облаками, и пополз.

Порядочно уже прополз. Телефонные провода змейкой побежали в гору. Там, на перевале, держит позицию наша пехота.

В темноте нащупал узелок — и вдруг чувствует: из узелка торчит не одна проволока, а две.

«Что за напасть? Откуда вторая?»

Осторожно, из рукава, осветил себе электрическим фонариком.

Глядит — своя, чёрная проволока. А в неё словно впилась чужая, жёлтая.

Фашистская! Разговоры подслушивают. Вот откуда враг знает про наши дела!

Ух как взъярился Казанов. Отстриг шпионскую проволоку — и ну кромсать её кусачками, ну кромсать!

Однако опомнился: «Не то делаю, не надо горячиться... — И убрал кусачки. — Зачем уничтожать жёлтую проволоку? Она нам службу сослужит».

И залёг в сторонке за камнем. Приготовил автомат.

Немного прошло времени. Слышит Казанов шорох. Фашист ползёт.

Ну-ка, что он будет делать?

Так и есть, опять к нашей линии пристраивается. Чинит повреждение.

«Ишь ты, понравилось подслушивать! Только врётся, больше жёлтая проволока действовать не будет!» Казанов не стал стрелять — а то шума наделаешь. С одного удара он прикончил фашиста кинжалом. И тут же столкнул его в пропасть.

Опять Казанов за камнем. Едва успел замаскироваться — второй фашист ползёт.

Уложил и этого.

Но своей засады не покидает. Ждёт ещё гостей. Обязательно приползут — потому что как же они без шпионского подслушивания!

Одного только не рассчитал Казанов. Думалось ему, что и дальше фашистские крысы будут выползать поодиночке. Под его кинжал. А они толпой привалили...

Сколько их — и не пересчитать среди каменьев. Потому что в касках. Залегли, каски на лоб насунули — и сразу стали похожи на камни.

Казанов даже дыхание придержал, чтобы не выдать себя. Но чувствует — дело плохо. Он один, а их сколько?

Начал потихоньку отползать назад, прячась за камни... Да и напоролся на фашиста.

Завязалась рукопашная. Казанов одолел фрица, прикончил.

Но на шум кинулись остальные.

— Рус, сдавайся, тебе капут!

— Вам капут, собаки гитлеровские! — И Казанов веером, слева направо и справа налево, окатил фашистов из автомата.

От метких его пуль, словно мешки с веза, рухнули убитые.

Сам он присел за камень — и вовремя: цветными светящимися нитками мелькнули у него над головой ответные пули.

— Рус, сдавайся! Рус!

Молчит Казанов. Приуныл. Из автомата среди камней фрицев не уничтожить... Позвать на помощь — а кого? На перевале, где наши пехотинцы, разгорелась перестрелка. Кричи не кричи, там не услышат. А ближе и нет никого.



А фашисты уже окружают его тайничок за камнем.

— Хенде хох! — кричат. — Руки вверх!

Казанов побледнел. Отчаянная мысль ударила ему в голову.

— Ах, хенде хох? — яростно закричал он и вскочил с поднятыми руками. — Натё же!

Он был страшен. В руке у него сверкала молния.

Фашисты в испуге шарахнулись.

Но Казанов не позволил фрицам разбежаться. Ещё выше вскинул руку. Ещё ослепительнее блеснула молния при лунном свете.

— Хенде хох, фашистские собаки! Бросай оружие, а то живьём изжарю!

...Связист Казанов привёл в штаб шестерых пленных. Все шестеро, косясь на русского великана и не смея пикнуть, стояли в углу землянки.

— Да как же вам удалось одному такую орду в плен взять? — с удивлением спросил начальник штаба.

Казанов потупился:

— Смешно это вышло, товарищ начальник. Не совсем по-военному...

Я фрицев кусачками напугал. Кусачки у меня бережёные, здорово блестят.
А тут как раз луна... Струсили фашисты — вот и вся хитрость.



ЧЕРНЫЙ СКАКУН



У нашего автомобиля от жары раздулась и лопнула шина. Простояли час, пока натянули на колесо новую. Едем дальше. Дышать через нос всё труднее. В голове гудит. Хочется вскочить, широко раскрыть рот и вдыхать, вдыхать воздух без конца! Но как раскроешь рот? Пыль такая, точно вся пустыня перевернулась и сыплется нам на головы. Песок забирается за воротник и струйками течёт по голому телу. Песок хрустит на зубах. Песок щекочет в носу. Чтобы не задохнуться, мы крепко прижимаем к лицам носовые платки.

Набегают ветерок и на минуту разгоняет пыль. Я тороплюсь отдышаться и оглядываю своих товарищей. Можно подумать, что им кто-нибудь пришил носы из коричневого сукна. Щёки от пыли тоже кажутся суконными. А глаза большие и круглые, как у филина. Это от очков. Все едут в очках, обшитых с боков кожей, чтобы пыль не засорила глаза.

Поверх пиджаков мы надели толстые брезентовые плащи. Один из наших товарищей плаща не взял — мол, и без того жарко! — и поехал в белой рубашке. Только гляжу — не сидится ему: то так повернётся, то этак, то голову наклонит, то откинёт — и плечами передёргивает.

Наконец процедил сквозь зубы:

— Кажется, я обгорел весь... Что делать?

На помощь бедняге поспешил мой сосед по машине. Это инженер Пётр Петрович. Он среди нас единственный, кто уже побывал в пустыне.

— Натек-ка мой полущубок! — сказал инженер. — И наперёд

запомните: чем жарче печёт солнце, тем теплее надо одеваться!

А мы-то думали наоборот. И все рассмеялись словам инженера, как шутке.

А человек и не шутил вовсе. Он сказал:

— Вот встретятся жители пустыни — посмотрите, как они одеты.

Вскоре мы увидели конного казаха. Он как из-под земли вырос. Заслонился рукой от солнца и глядит на нас, глядит из-под ладони... От его острого взгляда даже как-то неприятно стало.

Я наклонился к инженеру:

— Что ему надо?

А инженер:

— Поглядите, как он одет, поглядите, пока не ускакал! — И стал объяснять: — Длинное полосатое на нём — это халат. Он из ситца, но подбит толстым слоем ваты. Такой халат — как щит от солнечных лучей. — Инженер повернул голову: — Запомните это, майский фронт в белой рубашке!

— Угу... — прогудело с задней скамейки. — Уже запомнил. Спасибо. Спасаясь под вашей шубой.

— Вот и отлично, — сказал инженер. — Но смотрите товарищи, смотрите на казаха. Какова шапка на нём — сплошной мех! Это летом-то, а? Конечно, потом обливается. Зато человек спокоен, что с ним не случится солнечного

удара. В этой же шапке — малахае, по-здешнему — казах и зимой, в мороз. Видите, какая удобная шапка!

А я уже не на шапку гляжу — на коннике сапоги какие-то странные: толстые, как брёвна.

— А у него валенки под сапогами вместо чулок, — сказал инженер. — Здесь не погуляешь босиком по песочку или даже в тапочках.

Инженер посмотрел на небо. И я посмотрел. Небо было белое, словно вся синева на нём выгорела.

— Градусов пятьдесят сейчас, — сказал инженер, — а то и больше. Вот погодите — яйца будем в песке печь!

Как всё это интересно... Я слушал Петра Петровича — и передо мной шаг за шагом открывался новый, неведомый мне мир пустыни...

Своё путешествие мы начали из города Семипалатинска, что в Западной Сибири. А сами из Москвы и Ленинграда. Мы журналисты, нас целая группа.

Семипалатинск стоит на Иртыше. Река Иртыш бурная, стремительная.

Не каждый отважится и в воду влезть, чтобы искупаться.

А по ту сторону Иртыша, куда нам ехать, желтела дикая бескрайная пустыня... Что она такое? Развернули карту — а на карте белое пятно. Это значит — пустыню ещё никто не обследовал.

И семипалатинцы — очень милые люди — принялись отговаривать нас от поездки.

— Жизнью рискуете... Пустыня на тысячу вёрст, если не больше. Не ровен час — самум!

И нам рассказали о самуме. Это песчаный смерч. Среди бела дня вдруг из-за горизонта появляется пляшущая воронка. И уже чёрные облака над головой, и воронка своей вершиной достигает облаков. Гонимая ветром, она мчится по пустыне... Самум! Беда тому, кто окажется на его пути. И человека, и животное, и повозку воронка втянет в себя и, бешено закрутив, бросит. В то же мгновение на это место обрушится гора песка.

— Похоронит вас самум, — говорили нам, — и даже мать родная не разыщет ваших могил. А вы ребята молодые, зачем вам умирать?..

Невесёлые истории... Слушаешь — не улыбнёшься. Но что в них правда, что выдумка? Не понять...

Ехать мы решили на автомобиле-полуторке. Машина вместительная и надёжная в ходу.

А семипалатинцы в один голос:

— Автомобиль? Ни в коем случае! В пустыню — только на верблюдах. Какие вы странные, товарищи. Это известно даже из школьных учебников.

— А у нас шофёр не умеет управлять верблюдом! — ввернул кто-то из ребят, и все рассмеялись.

Устали мы от советчиков. Хватит. Уже самум советов обрушился на нас!

Впрочем, были и дельные советы. Прислушиваясь к ним, мы вместо одной полуторки снарядили в дорогу две. Запаслись продовольствием на целый месяц. Запаслись пресной водой в деревянных бочках. Горючим — в железных. Взяли с собой лопаты, топоры, ремонтные материалы. В исполкоме нам выдали оружие.

Однако пора сказать: что же нас, журналистов, привело в эту дикую пустыню? Конечно, любопытство. Конечно, желание увидеть новые места. Но не только это. Наше путешествие происходило в 1928 году. А это знаменитый год. С этого года пошёл счёт наших пятилеток: пятилеток социалистического строительства.

И мы спешили увидеть, как начинается первая пятилетка. Увидеть — и рассказать об этом в газетах и журналах всем советским людям.

А начиналась пятилетка в пустыне с постройки железной дороги. Дорога эта соединит Сибирь с Туркестаном. «Турксиб» — назвали её коротко.

Это особенная железная дорога. В те далёкие годы она должна была одеть советских людей.

Вижу удивление: «Как так — одеть? Разве наши дедушки и бабушки, которые строили первую пятилетку, ходили неодетыми?»

Нет, конечно, одежда была. Но какая!.. Донашивали до дыр последки. Редко когда доставался по карточке кусок мануфактуры — три метра на семью. Вот и исхитрайся, что сшить — костюм или платье, или разорвать кусок на детские пелёнки? Всё необходимо!

Трудно жилось — но все радовались, что гражданская война закончена победой. Что уже подняты из развалин и дымят заводы и фабрики. Что для советских людей начинается счастливая мирная жизнь.

И захотелось людям хорошо и красиво одеваться.

Но во что оденешься? Ткани, как известно, по большей части делаются из хлопка. Растение это нежное и капризное, вызревает только там, где много солнца. А солнечные республики у нас на самом далёком юге. Издревле там сеяли хлопок. И вдруг перестали. Почему?

Голод заставил. Не до хлопка, когда есть нечего. И на хлопковых плантациях, которые прибраны, как грядки в саду, стали сеять пшеницу.

Хлопка в стране не стало... Как же быть?

Советское правительство сказало солнечным республикам:

«Товарищи, сейте хлопок, стране нужна одежда!»

«Но мы, — возражают, — останемся без хлеба. Кто же нас накормит?»

«Сибирь накормит. Сибирь богата хлебом, поделится!»

Усомнились: «Возможно ли такое?» До Сибири от них больше тысячи километров — и все пустыней. Сколько же надо верблюдов, чтобы составить хлебные караваны? Ведь население солнечных республик — десятки миллионов людей. И каждого надо накормить — да не по разу в день! Нет, нет, не набрать столько верблюдов, чтобы возить хлеб из Сибири...

Согласилось правительство: «Верблюды не годятся. Пока-то пришагают из Сибири с мешками хлеба на горбу. Поэтому верблюдов беспокоить не будем. А уложим через пустыню рельсы — и пустим поезда. Вот вы и будете с хлебом, товарищи в солнечных республиках!»

Так зародился Турксиб.

Мы едем через пески и колыхаемся в машине, как на волнах.

Порой в эти жёлтые безжизненные волны зарываются колёса.

Фонтанами брызжет песок, мотор хрипит и завывает от натуги, а машина ни с места.

«За лопаты!» И мы все выпрыгиваем из машины, откапываем колёса, подкидываем под них доски.

Трогаемся дальше не сразу. В радиаторе машины выкипела вода — надо добавить свежей. Наш шофёр отправляется с ведром ко второй машине. А водочерпий там строгий, и слышно, как шофёр с ним переругивается, пока начинает звенеть заполняемое водой ведро.

За нами увязался конный казах. Тот самый, что разглядывал нас, как какое-нибудь диво. Он и сейчас полон любопытства: то отстанет от машины и скачет позади, то обгонит нас, то под колёса, то в кузов заглянет...

И вдруг гортанный выкрик, взмах плёткой — и дикий степной конь взвивается на дыбы... Помчался! Гляжу вслед, и чудится мне, что конь больше и не прикасается к земле: летит с всадником по воздуху.

— Как ловок, как красив, а? — восхищается инженер. — По-моему, степняк-кочевник — лучший в мире верховой! — Потом добавляет: — Казах ускакал... Это узун-кулак, товарищи. Теперь о нашей экспедиции будет знать вся степь.

И все мы, сидевшие в машине, услышали рассказ про узун-кулака — про почту кочевников. Это, вероятно, самая древняя почта в мире, ей многие тысячи лет.

И обходится она без бумаги и конвертов, без марки и пера.

Зародилась степная почта у наших далёких предков, которые жили охотой и скотоводством. Первыми почтарями были, конечно, дозорные в степи. Выследив врага, дозорный мчался к вождю своего племени. Тревога! И воины хватались за копья, луки, колчаны со стрелами, а женщины, дети, старики бежали прятаться. С трепетом прислушивались они к звукам сражения и молили богов о ниспослании их племени военного счастья.

Бывали войны, но случалось и спокойное время. А когда люди спокойны — им всё интересно. Теперь дозорных заставляли рассказывать обо всём-всём, что они видели и слышали в степи. Получился узун-кулак — степные «последние известия». Вот они когда зародились, известия! За многие тысячи лет до нашего радио...

Двигаемся дальше. Вдруг в кузове в несколько голосов встревоженно

закричали:

— Самум! Самум! — И к инженеру: — Пётр Петрович, что делать?
Инженер схватился за бинокль, стал шарить по горизонту...



А я сижу ни жив ни мёртв. Сразу припомнились страшные рассказы в Семипалатинске. Замирая, я слежу за движением самума. Грязно-жёлтая воронка вихрем мчится по степи, всё увеличиваясь в размерах. Вот поворачивает... Неужели обрушится на нас?

Стыжусь своей трусости, но шепчу:

— Пётр Петрович... Может быть, всем нам спрыгнуть — и под машину?

— Это не самум. — Инженер опускает бинокль. — Всего лишь самумёнок. А младенца нечего бояться. Самое худшее, если он окатит нас песком.

К общей радости, не случилось и этого.



Опять всё спокойно в пустыне. Солнце, такое ещё злое недавно, опускается к горизонту и напоминает сейчас толстого краснощёкого добряка, который, позёывая, готовится к ночлегу.

Как славно дышится прохладой!

Но тишину вдруг нарушает Пётр Петрович:

— Уже вечер, товарищи. Пора и закусить. — И он достаёт из чемодана увесистый тючок.

Похоже, что в тючке сухари или сушёные фрукты. Обедали мы плохо, на ходу, и пожевать очень кстати.

Но инженер, зачерпнув в тючке пригоршней, протягивает нам аптекарские порошки.

Все разочарованы.

А Пётр Петрович, сам себе подмигнув, высыпает на язык сразу три порошка. Захлопывает рот. В глазах испуг. И тут его всего передёргивает, как в ознобе... Бр-р... На него жалко смотреть. Какую-то гадость проглотил.

Но, едва придя в себя, Пётр Петрович восклицает:

— Отличная закуска! И советую, товарищи, моими порошками не брезговать. Слыхали про жёлтую лихорадку?

Говорю с робкой надеждой:

— Пётр Петрович, но ведь это же в тропических странах, совсем не у нас...

— Вы так думаете? — отвечает инженер. — А посмотрите-ка на свою руку.

Гляжу — комар. Пристраивается, чтобы проколоть своим хоботком мою перчатку.

— Ужалил? — спрашивает инженер.

— Нет, — говорю я и прихлопываю комара. — Не успел.

— Ваше счастье. Это был не просто комар, а разносчик жёлтой лихорадки: анофелес. Глотайте же порошки!

— Это хина? — догадываюсь я. От первого порошка меня скрючило. После второго почувствовал, что глаза полезли на лоб. Третий порошок — я схитрил, проглотил вместе с бумажкой.

Мучились, глотая порошки, и остальные. Однако из кузова неслись бодрые возгласы:

— Да здравствует хина! Хине виват!

Ночь застигла нас в пустыне. Укладываться спать пришлось прямо на земле. Разостлали, какие были, брезенты и принялись гадать: как уберечься от змей? Они в песках смертельно ядовиты.

Каждый предлагал своё, пока не вмешался шофёр.

— Послушайте меня, — сказал парень, — я всё-таки местный, семипалатинский.

И мы узнали удивительную вещь: змея боится овечки. Верблюда не боится, лошади, осла, быка не боится. А от безобидной овечки удирает без оглядки. Даже овечьего запаха пугается.

Шофёр объяснил это так. Овечка, увидев змею, приходит в ярость и пожирает её. Ведь она мать, и у неё ягнята.

Это понятно. Но верблюд тоже не подпустит змею к своему детёнышу. И лошадь не подпустит. И осёл. И бык.

Между тем страшится змея только овцы. Почему? На это шофёр не смог ответить. Впрочем, мы и не допытывались. За день умаялись, да и поздно уже: спать, поскорее спать!

Змей мы уже не боялись. Ведь полушубки, которыми мы накроемся, все из овечьей шкуры!

Проснулся я, увидев сон, что замерзаю во льдах Северного полюса. Не сразу и опомнился. Трясло меня, как в лихорадке. Вот так юг. Как несправедлива природа. Хоть бы самую малость дневной жары приберегла на ночь!

Вдруг обнаруживаю, что я раскрылся. Эге, сам виноват, что на Северном полюсе! Залезай под полушубок, мигом будешь в тёплых широтах!

А когда стало светать, я увидел в куче полушубков инженера. Вот кто вволю выспался! Едва мы его растолкали и подняли с брезента.

Позавтракали, и Пётр Петрович заторопил всех:

— Солнышко встало, пора и нам в путь. Запрягайте, хлопцы, коней!
— весело добавил он из песни.

Проехали ещё день.

В сумерках я стал различать дома и даже огоньки в них... Невероятно! Посёлок в глубине пустыни! Или это мираж?..

Пока я терялся в догадках, машина покатила уже по улице между домами.

Остановили машину и в ближайший дом попросились на ночлег.

Хозяйка встретила нас с поклоном:

— Пожалуйста, пожалуйста, дорогие гости!

Потом спросила удивлённо:

— Почему же вас пятеро? А где остальные? Ведь из Семипалатинска вас едет одиннадцать?

Что за чудеса? Откуда она знает про нас?

А инженер мне на ухо:

— Степная почта. Или забыли про конного казаха?.. Узун-кулак быстрее ветра по степи бежит и всё видит, всё слышит. «Узун-кулак» значит «Длинное ухо».

Но вот затопали на крыльце и вошли в хату наши остальные шестеро.

Пересчитав и этих, наша хозяйка успокоилась. Пригласила всех во двор к рукомойнику, а сама стала собирать на стол. Подала нам в двух сковородах яичницу со шпиком. Тут же выставила деревянный жбан, в котором пенился кумыс.

Отличный ужин — дар пустыни!

— Чай пить будете? — спросила хозяйка.

— Будем! Будем! Только разрешите, мы сами поставим самовар!

И заправили самовар водичкой из Иртыша. Она пресная и на редкость вкусная.

Переночевав, мы сделали хозяйке подарок: из своих запасов налили ей в кадку иртышской воды.

Посёлок, оказывается, не так уж мал. Тут и там приземистые каменные амбары с дверьми, окованными железом.

Нам сказали, что в амбарах хранятся кожи, овечья и верблюжья шерсть. Всё это привозят кочевники. А когда амбары наполняются, зовут бычников. Так называют погонщиков быков, живут они тут же.

Всё, что накопилось в амбарах, бычники перекалывают к себе в телеги — и рогатый обоз, пройдя по улицам городка, углубляется в пустыню.

Перед бычниками дальняя, тяжёлая, да и опасная дорога.

Караван быков приходит в Семипалатинск. А там — железнодорожная станция. Кожу и шерсть погружают в вагоны, и попадает это всё на заводы и фабрики. А караван возвращается домой. Но не порожняком. В телегах теперь то, в чём нуждаются кочевники: мануфактура, посуда, сахар, иголки, нитки.

Нас пригласил к себе председатель исполкома. Председатель исполкома нам понравился. Скромный человек, он донашивал своё обмундирование кавалериста гражданской войны. Был он в выгоревшей добела гимнастёрке с заплатами на локтях. На письменном столе лежала фуражка с синим околышем.

Во время беседы председатель посетовал на бычников.

— Не нравится им, товарищи, что по нашим местам пройдёт железная дорога. Кричат: «Шайтан-арба! Шайтан-арба!» А людей это пугает. Ведь «шайтан» — чёрт по-казахски. «Шайтан-арба» — «чёртова телега»... Так они окрестили поезд чёртовым именем. А люди здесь захолустные, шепотки да слушки... Не годится это.

И председатель попросил нас рассказать о железной дороге на собрании граждан.

— Вы люди столичные, — заключил он, — и слово ваше прозвучит убедительно.

Собрались на свежем воздухе, к вечеру, когда спала жара.

Речь держать мы поручили Петру Петровичу. Он инженер, работает на стройке железной дороги — ему, как говорится, и карты в руки.

Пётр Петрович рассказал о постройке дороги коротко и дельно. Ему похлопали — да и по лицам собравшихся было видно, что дурным слухам уже веры нет.

Однако бычники хмурятся. Потом стали выкрикивать:

— Не нужна нам шайтан-арба! Возим товары на быках — никто не жалуется. А проложите дорогу — быки без дела останутся. Значит, помирай с голоду, бычник?

Слово взял председатель исполкома. Сказал, что Советская власть

никогда не обидит трудящегося человека. В том числе и бычника.

Правильно сказал. Но бычники расходились в глубокой задумчивости: неппростое это дело — менять привычную свою жизнь...

Рано утром двинулись через пески дальше на юг.

Но по-прежнему всё мертво вокруг.

Только к вечеру неожиданно пески зазеленели.

Все радостно вострепнулись:

— Оазис! Товарищи, мы в оазисе... Прива-ал!..

Мы вышли из машины. Но не успели размяться с дороги, как из юрт высыпали ребятишки и со всех ног — к нам.

Автомобиль, конечно, им в диковинку — мигом облепили машину со всех сторон. И под колёсами они, и на крыше кабины... Рожицы сияют, чёрные глазёнки разгорелись, как угольки на ветру. А гаму, галдёжу — как в воробьиной стае!..

Шофёр забеспокоился — как бы чего не повредили в машине. Сорвал прутик — и к детишкам:

— Кыш, кыш!..

Получилось очень смешно: словно и в самом деле гоняет воробьёв.

Конечно, ничего не добился. Ребятишки только притворно взвизгивали да языки, дразнясь, казали.

Отбросил шофёр прутик — и в кабину. Да как загаркал оттуда клаксоном...

Вмиг сдуло ребячью ораву. Только голые пятки сверкнули перед входами в юрты.

Между тем появились и взрослые. К нам приближалась мелкими шажками, словно по льду скользила, женщина с белой чалмой на голове. В вытянутых руках она торжественно несла плоскую чашечку — пиалу — с кумысом. Это знак гостеприимства.

Оказавшись в юрте, я увидел, что покрывавшие её кошмы — одеяла — изнасились до дыр.

Приглашают обедать — а у самих, гляжу, ни кусочка хлеба. Горсть поджаренных пшеничных зёрен, овечий сыр да кумыс — вот и весь обед. А на ковре одних ребят уселось человек пять — шесть; худые, как палочки, в лицах ни кровинки. И я понял, что семья голодает.

А ещё усаживают на почётное место, накладывают мне еды. Вот положение! Рука не поднимается объедать голодных — и отказаться нельзя. Инженер предупреждал: «Не уважить гостеприимства кочевника — значит нанести ему тяжкое оскорбление!» Пришлось подчиниться обычаю —

отведать еды.

Бедуют люди на кочевьях.

Едва я заговорил о Турксибе, как казах насторожился.

«Весь аул, — говорит, — слышал, а поверить боимся. Кричит узун-кулак: «Нан дают, нан! Бери кетмень, иди копать землю, строить железную дорогу... Нан получишь, нан!»

Казах объяснил: «нан» — это хлеб. И я от всей души посоветовал ему идти на стройку.

— Правильный, — говорю, — узун-кулак! Собирайтесь всем аулом — и в путь-дорогу!

Мы уже рассаживались в машинах, когда Пётр Петрович, поглядев по сторонам, сказал таинственно:

— А хотите знать секрет? Этот узун-кулак про «нан» я сам пустил. С Турксиба.

Все рассмеялись:

— Пётр Петрович, вы неистощимы на шутки!

Инженер вдруг рассердился:

— Не верите?.. — Потом сказал: — Турксиб — стройка трудная, не каждого ведь заманишь в пустыню. Приехали землекопы из России — богатыри с лопатами. Но их сотни, а чтобы план выполнять, нужны тысячи рабочих. Тут и я подумал: «А узун-кулак на что? Ноги у него быстрые, и носится он по всей степи!» Конников и искать не пришлось — из любопытства они то и дело заглядывают на стройку. Подобрал я человек с десяток, поставил ребятам задачу, тут же каждому по ковриге хлеба — и полетели степняки в разные стороны, крича: «Нан получишь, нан! Бери кетмень!..»

Находчивость — прекрасное свойство. И всегда радостно открывать это свойство в человеке. Порадовались и мы, журналисты. Тут же раскрыли свои блокноты: будет о находчивом инженеру заметка в газетах!

К слову сказать, Пётр Петрович поскромничал, не похвалился успехом. А успех был большой! Посланные им узун-кулаки, как мы потом узнали, привели к железной дороге из степи десять тысяч казахов.

Стыдно вспомнить, как я попал впросак...

Едем. Пустыня. А в пустыне и мысли о пустыне. Скорпионов повидали, фаланг, змей, ядовитых пауков, тарантулов. И с самумом встретились — спасибо, что молодой попался, мальчишка, самумёнок, а то несдобровать бы нам.

Всякого навидались. А вот мираж не попадается. Даже обидно: это же

чудо пустыни!

И только я так подумал — вот он, забрезжил, лёгок на помине...

— Мираж! — закричал я, счастливый удачей. — Мираж, ребята. Всем видно?

А сам затаился: только бы, думаю, не спугнуть видение, только бы не спугнуть... Среди пустыни будто гряда насыпана. Моргнёшь — нет её, покосишь глазом — опять появляется. А на гряде — люди, люди, люди...

— Никакой это не мираж, — сказал Пётр Петрович, — а сама стройка. Мы подъезжаем к Турксибу.

Мы живём в десятой пятилетке. Советская страна достигла такого могущества, что ей всё под силу. Что ни год — мы строим десятки новых заводов и фабрик, шахт и рудников. В теснинах между горными кряжами встают высоченные плотины: перегороженные ими реки образуют моря. А электростанции, что при каждой плотине, перерабатывают эти моря воды в моря электрической энергии. Получая энергию, действуют заводы и фабрики, бегут поезда, говорит и поёт радио, светятся экраны телевизоров, от неё свет и тепло в наших квартирах.

Электрической энергией мы делимся с другими социалистическими странами. И нефтью делимся, и газом, и металлом, и многим другим. Потому что мы богаты и сильны. И любим помогать друзьям.

С советской земли поднялись первые корабли в космос. И мы уже не удивляемся подвигам наших космонавтов. По Луне ходит луноход, изучает её. И на Венере побывали наши космические аппараты, и на Марсе: исследовали там атмосферу, почву. Теперь устремляются к другим планетам Вселенной... Чудеса творим! А не удивляемся. Всё нам по плечу, Стране Советской. Мы строим коммунизм!

Да, это так... Живём и трудимся в десятой пятилетке. Но начинали-то мы с первой. Этого нельзя забывать.

Вернёмся же в первую пятилетку. В 1928 год. На стройку Турксиба. К нашим двум автомобилям в песках пустыни.

И представим себе, что с нами гость — из десятой пятилетки. К примеру, москвич, рабочий, ударник коммунистического труда Степан Ильич Иванов.

Идём с гостем на место работ.

Степан Ильич остановился. В недоумении озирается:

— Куда же это вы меня привели, ребята? Люди грядки копают. Обещали показать, как строится Турксиб... а привели на огород!

Объясняем:

— Нет, Степан Ильич, это не огород. Из этих грядок и получится Турксиб.

А москвич:

— Ха-ха-ха!.. Ловко придумали! Только нет, меня не проведёте!

И говорит строго:

— Ежели строится железная дорога, то где же экскаваторы, чтобы землю копать? Где самосвалы, чтобы этой землёй насыпь насыпать? Где путеукладчик? И без него нельзя. Путеукладчик довершает стройку: что ни шаг — получай готовый путь со шпалами, рельсами сразу на полсотни метров! Вот как строится железная дорога! А здесь что?

Замолчал московский гость. Насупился. Очень расстроился увиденным... Да и в самом деле радости мало. Толпы людей ковыряют землю лопатами. Солнце пустыни не позволяет людям сбросить лишнюю одежду, вздохнуть свободно, как следует поработать. Жара изнуряет, и люди то и дело присаживаются, чтобы набраться сил.

Лопаты... А вместо механизации — верблюд подносит на горбе шпалы. Но рельс на верблюда не навьючишь: штука громоздкая, опрокинется — может покалечить животное. Рельсы подносят люди, кряхтя и сгибаясь под их тяжестью.

— Нет, глядеть на это не могу! — Степан Ильич даже отвернулся, потрясённый, и...



И на этом я прерываю фантастическое путешествие знатного москвича-строителя из десятой в первую... Не было его. Ведь нельзя попасть в минувшие годы. Для чего же я придумал это путешествие? А чтобы получше разглядеть, какими мы были и какими стали за годы пятилеток...

Но продолжим наш рассказ.
Вот и Турксиб.



Стоим, прячась в тени машин, и глядим, как возникает железная дорога.

Вдруг слышим:

— Руки, ребята, чешутся поработать! Испытать хочу, каково тут людям вкалывать!

А это Вася Круглов. Помните, тот, который ехал по пустыне в одной белой рубашке. Он тоже из Ленинграда, рабочий, и едет с нами как корреспондент своей заводской газеты.

Выбрал он в машине лопату и уже в ладони поплёвывает.

Глядит — перед ним Пётр Петрович.

— Мало, друг, поплевать в ладошки. Вот тебе здешние рукавицы.

А рукавицы толстые, похожие на боксёрские. Только не кожаные и не нарядные, а из какой-то брезентовой рвани.

Вася отмахивается:

— Пётр Петрович, ну куда мне такие уродины! В них и работать несподручно.

— А если, — говорит инженер, — волдыри вскочат на руках, будет сподручно?

Не стал Вася спорить. Принял рукавицы.

Но это не всё. Теперь надо было Васю нарядить для работы.

Пётр Петрович расправил принесённые им ватные штаны, а мы все,

сколько нас было, кинулись помогать инженеру. Приподняли Васю за локти и опустили в эти штаны, как в ванну. Не давая ему опомниться, надели на него ватную куртку, ноги его засунули в валенки, а на голову нахлобучили шапку-малахай.

Смеху было, но Вася всё стерпел. Подошёл черёд смазать ему лицо жиром — и вот тут Вася забрыкался:

— Уберите косметику! Я вам не модная дама!

— Да возьми хоть на всякий случай! — урезонивали его. Согласился, сунул в карман баночку с жиром.

Вышел Круглов на стройку. Разыскал десятника. Этот почтенный мужчина ходит под зонтиком, спасаясь от солнца. Но всё равно лицо у него красное, как кипятком ошпаренное.

— Хочу поработать, — сказал Вася, вонзив в землю лопату. — Велика ли у вас норма? Отмеряйте полную!

Десятник выглянул из-под зонтика. Поглядел в лицо незнакомому парню и сказал с усмешкой:

— Ишь прыткий! Откуда такой припожаловал?.. Полная норма у меня знаешь сколько? Десять кубометров земли выкопать и на тачки погрузить. Берёшься?

Мы, услышав этот разговор, возмутились: какой бессовестный дядька! Нет таких норм на стройке. Это он от себя наваливает на Васю. И Петра Петровича нет, чтобы усовестить десятника, — инженер уже ушёл по своим делам... Впрочем, Вася, гордец, не позволил нам вмешиваться.

— Отмеряй! — повторил он, и десятник, посмеиваясь, прошёлся по земле мерной палкой и отметил, от какого места и до какого копать.

Что было дальше, мы не видели. У нас, журналистов, были на стройке свои дела. Уговорились с Васей встретиться вечером в клубе. Клуб здесь был довольно просторный — сшили его из нескольких юрт.

И вот прозвенели на стройке подвешенные куски рельсов: «Шабаш! Кончай работу!»

В юрту-клуб ввалилась толпа потных, перепачканных землёй, но радостно возбуждённых людей. В большинстве это были казахи и узбеки. Шли в обнимку, громко что-то выкрикивая. А среди них — наш Вася Круглов. Он был весел, смеялся и в то же время морщился от сыпавшихся на его спину дружеских шлепков.

Мы боялись поверить: неужели он выполнил эту огромную норму?

И сразу увидели, что Василий без куртки. Была ватная на нём куртка, где же она? Человек в одной рубахе... Что-нибудь случилось?

Озадаченные, мы ловили взгляд нашего товарища, а он в ответ только

посмеивался.

В это время, раздвигая толпу, вошёл десятник. Зонт теперь висел у него на сгибе локтя.

— Давай сюда, товарищ! — И он вытащил Василия на середину юрты. Вид у десятника был торжественный. — Стой тут, чтобы все тебя видели! — Повернулся и крикнул в толпу: — Эй, там, кто сзади! Разгородите вход пошире — перед юртой ещё народу сколько! Дайте людям войти! — Затем десятник повернулся к нам: — Каково, а? — Он стукнул зонтом об пол. — Пол-то-ры нормы выполнил!.. Объявляю официально: товарищ Василий Поликарпович Круглов из Ленинграда выкопал и в тачки погрузил пятнадцать кубов твёрдого грунта. Это, товарищи журналисты, рекорд на моём участке! Так что прошу отписать в газеты и журналы!

А казахи и узбеки через голову десятника закричали из толпы:

— Скажи, Василий, слово, скажи! Сам полтора урока — хорошо. И нас научил копать полтора! Полтора да полтора — пиши, десятник, ему три урока!

Переждав весёлый шум, заговорил Круглов:

— Как это получилось? А дело, товарищи, в догадке. Только и всего.

Сказал, что сперва дело у него не заладилось. Весь мокрый от тёплой одежды, дышать нечем. Присел, закурил. Дым потянуло в сторону — оказывается, ветерок есть: слабенький, но всё же ветерок. А в кармане, вспомнил, баночка с жиром. Жир да ветерок — тут и пришла догадка.

Долой тёплый ватник! Намазался Вася до пояса жиром, а на голое тело — рубаху. Только не в брюки её заправил, а пустил навывпуск: поддувай под рубаху ветерок!

Тут и пошла работа. Круглов выкопал десять кубометров, а потом принатужился и, потешаясь над десятником, ещё пять вынул.



У нас, журналистов, была своя юрта. После собрания сели поужинать. Заглянул к нам и всегда занятый Пётр Петрович. Не садился только наш Василий Круглов!

— Обождите, ребята, — отмахивался он, — обождите с едой!

Ждём — что такое он скажет?

Вася прошёлся по тесной юрте. Остановился, взволнованный, — и вдруг азартно выкрикнул:

— Якши! Хорошо! Поздравляю, товарищи!

Мы не поняли его.

— С чем поздравляешь, Василий Поликарпыч?

Тут он признался, что, увидев стройку, подумал с горечью: «Ничего у них не выйдет с Турксибом. Зря ковыряются...» Но когда сам взял лопату да поработал плечом к плечу с местными людьми, — почувствовал: будет железная дорога. Как дети, радуются они блеску первых положенных рельсов, прочности брёвен-шпал. Уже появились песни — у рабочего люда это недолго. И поётся в этих песнях, что по светлой рельсовой дороге не только хлеб, но и счастье придёт сюда от Советской власти.

— А раз так, — заключил Василий Круглов, — никакие самумы не

собиют людей с пути. Под палящим солнцем, но перекопают пустыню от края до края лопатами!

Когда мы закончили своё путешествие, Вася полушутливо сказал инженеру:

— Не забудьте пригласить всех нас на открытие железной дороги!

— Обязательно пригласим, — сказал Пётр Петрович, а потом пошутил: — Узун-кулак пришлём за вами!

...В один из майских дней 1930 года со станции Семипалатинск по новенькому железному мосту через Иртыш отправился поезд. Он был украшен кумачом и цветами, и множество жителей города пришли проводить поезд в его первый путь по Турксибу. Он вёз в вагонах сибирскую пшеницу.

В этот же день и в этот же час со станции Луговая, что на южном конце Турксиба, столь же торжественно вышел другой поезд. Этот был нагружен тюками хлопка.

Потом рассказывали: когда поезд тронулся с места и паровоз задымил, кочевники решили, что у паровоза грива.

Тут же с криками: «Кара-айгр! Кара-айгр!» — вслед за поездом устремились всадники. «Кара-айгр» значит «Чёрный конь, Чёрный скакун».

Но поезд быстро набрал ход — и всадники отстали. Только один ещё долго мчался вслед на взмыленном коне. Это был узун-кулак, он старался обогнать поезд. Но и он отстал.

Увидел — с Чёрным скакуном не поспоришь!



ПОЛТОРА РАЗГОВОРА (рассказ диспетчера)



1

Диспетчер... Вы, пожалуй, и не слышали, что такое диспетчер на железной дороге. Кондукторов, конечно, видали, стрелочников, машинистов, кочегаров тоже видали. Знаете, что есть дежурный по станции, — в красной фуражке по перрону ходит. Ещё билетные кассиры в окошечках. Проводники вагонов, смазчики, сцепщики... Ну, швейцары у вокзальных дверей. А я вот диспетчер. Меня вы, наверное, ни разу в жизни не видали. Даже в комнату ко мне воспрещается входить — на дверях так и написано: «Строго воспрещается».

Диспетчерская комната у нас на вокзале на самом верхнем этаже. Вы, пассажиры, только первый этаж и знаете, а у нас над ним ещё три. В первом шумят, шаркают, шныряют взад и вперёд. А на верхнем этаже тихо. Там люди едят, считают, чертят.

Вот и я в своей диспетчерской комнате сижу за столом, считаю, черчу. Войдёте ко мне в комнату (конечно, если у вас особое разрешение есть) — и сразу перед вами вся железная дорога откроется на восемьдесят километров. Не то что вы в окошко её увидите, нет — все восемьдесят километров у меня на столе лежат.

Я гляжу на стол и вижу, какие поезда по главной линии идут, какие на запасных путях стоят, какие на Сортировочную согнаны или на Фарфоровском посту моего распоряжения ждут. От Ленинграда до самой

Любани тянется мой участок. Это считается у нас первый круг. Я диспетчер первого круга.

А за стеной у меня — диспетчер второго круга (Любань — Окуловка), рядом с ним, тоже через стенку, — диспетчер третьего круга — это уж полдороги до Москвы — и так далее.

И каждый диспетчер из своей комнаты все свои поезда видит. Без всякого телескопа видит. Чуть сбился поезд с ходу, расстроил движение на дороге — диспетчер должен подхлестнуть машиниста или же выдернуть поезд с главной линии и кинуть на запасный путь.

Тут простую вещь надо понять. Все поезда выходят из Ленинграда точно, по строгому расписанию, каждый в своё время. Пошёл. Ты за ним следишь. Правильно идёт поезд, без заминки, без перебоя. Диспетчеру и делать нечего! И вдруг — что такое? Сбился поезд на две-три минуты, потерял ход. То ли давление пара недоглядел по манометру машинист, то ли дышло заело, а только ломает расписание поезда, — и всё тут.

Вот, к примеру, хоть сто сорок третий. Ему полагается по расписанию прибыть в Рябово ровно в двадцать два часа семнадцать минут. А прибыл он, скажем, в двадцать два часа двадцать минут. Значит, всего только на три минуты опаздывает. Кажется, и говорить-то не о чем. Три минуты! Ни один пассажир на это, верно, и внимания не обратит.

А железная дорога уже в лихорадке. Вся в лихорадке — от Рябова до самого Ленинграда. Телеграф стучит, дежурные мечутся, в телефон орут — один другого и под суд отдаёт и к лешему посылает. Ведь поездов-то на линии полным-полно. Все перегоны забиты поездами. А Ленинград всё формирует новые поезда, всё отправляет. Десять минут — и поезд, десять минут — и поезд. Тут тебе и рыбинский прёт, и иркутский, и севастопольский — в Крым, и кисловодский — на Кавказ. Если сто сорок третий застрянет, он всем этим поездам дорогу запрёт — ведь до Рябова они все по одному пути идут. А прежде всех дорогу запрёт скорому московскому, двадцать седьмому номеру. Этот следом за сорок третьим всегда идёт.

Так, в затылок друг другу, и движутся у нас поезда на линии... И вдруг — сто-о-ой! Сто сорок третий в Рябово не пришёл. На три минуты опоздание.

Если бы перед скорым двадцать седьмым предыдущая станция не захлопнула семафор, — врезался бы он, того и гляди, в хвост опоздавшему.

И пошли хлопать семафоры перед всеми поездами по всем станциям до самого Ленинграда. И в Ушаках, и в Обухове, и в Саблине, и в Поповке — по всем станциям запирают поезда.

Все поезда, значит, выбиты из расписания.

Вот какую кашу могут заварить три минуты на железной дороге!

И заварилась бы каша на линии, не один раз в сутки заваривалась бы, если бы не диспетчер. Ведь поезд не заяц, не спрыгнет с рельсов и не оббежит по тропочке другой поезд, который перед ним на линии торчит.

На то и сидит диспетчер за своим столом, чтобы прокладывать каждому поезду путь.

Лист разграфлённой бумаги да карандаш — вот и все, что нужно диспетчеру. А ещё ему нужно, чтобы кругом тишина была. Дверь плотно закрыта, и форточка тоже — чтобы ни свистка, ни гудка, ни крика.

Я так даже и шторы у себя на окне опускаю, — чтобы перед глазами поезда не мелькали. Сяду за свой стол, разложу лист бумаги в клеточку — по-нашему, график, — отточу карандаш поострее и начинаю управлять поездами.



2

Я не один в комнате нахожусь. Нас двое работает. Я, диспетчер, и мой помощник — громкоговоритель. Я за столом сижу, а громкоговоритель на краешке стола передо мной на одной ножке стоит. Стоит и докладывает мне:

— Сто сорок третий в Рябове. Три минуты опоздания. Двадцать седьмой идёт в своё время.

Доложит мне помощник — и моё распоряжение по станции передаёт.

Слева от меня, вот так вот, шкатулка стоит, название ей селектор. Шкатулка с ключами. Девятнадцать станций у меня на участке — и девятнадцать ключей на шкатулке. Повернёшь ключ — сразу станция тебе и откликнется.

Повернёшь рябовский ключ — громкоговоритель сразу и рявкнет:

— У селектора Рябово!

Будто не на линии Рябово, не за пятьдесят километров, а тут же, в шкатулке.

— Рябово? — спрашиваю. — Так уберите сто сорок третий на запасный. Пропустить двадцать седьмой.

— Понято, — отвечает громкоговоритель.

«Да» и «нет» у нас не говорят. У нас говорят: «Понято». Отчётливее это слово у громкоговорителя получается.

Выключил Рябово — и другой ключ повёртываю:

— Любань? Семьдесят первому воды набрать. На очереди к вам шестьсот сорок пятый.

— Понято, воды набрать...

— Навалочная, почему цистерны из-под нефти держите? Отправить немедленно.

— Понято! Понято! — выкрикивает громкоговоритель. А сам подпрыгивает на своей ножке, словно от усердия.

— Диспетчер! У селектора Ленинград-пассажирский. Двадцать девятый готов. Паровоз «Элька» сто шестьдесят три, машинист Харитонов, вагонов пятнадцать, осей шестьдесят, вес поезда семьсот тридцать девять тонн, тормоза проверены, главный кондуктор Шишов... — одним духом выпаливает громкоговоритель. И начинает шипеть, как кипятик: — Отправлять двадцать девятый? Отправлять?

— Отправляйте.

— Диспетчер! Диспетчер! — разными голосами кричит громкоговоритель. — Сто сорок пятый из Колпина вышел... Диспетчер, я Рябово... Диспетчер, я Обухово...

Если послушать у диспетчерских дверей, никто и не поверит, что я один в комнате нахожусь. Кажется, будто экстренное заседание у меня идёт. Будто человек двадцать наперебой разговаривают, кричат, спорят.

Был раз такой случай. Прислали ко мне с письмом проводника. Знаете, вагонные проводники? Ну, так вот, постучался он у дверей. А я не слышу. Стучит — а я никакого внимания. Тут он распахнул дверь без спросу — да как шархнется. И ходу! Парень-то, видно, новичок на железной дороге

был. Пока он у меня за дверью стоял, он двадцать разных голосов в комнате слышал. А открыл дверь — видит: один человек сидит, пропали все остальные, будто сквозь пол провалились.

Как же тут не испугаться?

3

По правилу, нельзя входить к диспетчеру. Да и незачем. Всё равно разговаривать на дежурстве я не могу. Громкоговоритель без перерыва барабанит в уши — слушаешь и слово проронить боишься. Ведь не пустые это слова — это всё поезда идут. В ухо кричит тебе громкоговоритель, а ты ему в микрофон отвечаешь. Говоришь, приказываешь, подгоняешь, покрикиваешь. И весь ты как в тисках. Левая рука на шкатулке. В правой карандаш. Карандашом по графику водишь. Левая нога твоя на педали — всё время педаль держать надо, пока разговариваешь. Только правая нога у тебя и свободна от дежурства.

А глаза — глаза больше всех работают. То на график взглянешь, то на часы, то на график, то на часы. Работа вся у меня по минутам рассчитана. Восемь часов дежуришь в смену, это — четыреста восемьдесят минут. Вот и шарить глазами по циферблату, умножаешь минуты на километры, делишь километры на минуты, вычитаешь минуты из минут. Как бы, думаешь, не проронить какую, как бы у тебя сквозь пальцы не просыпалась минутка. Ну, и поездам тоже выдаёшь минуты по счёту. А если уж подкинешь поезду лишнюю минутку — так машинист тебя до конца участка, до самой Любани благодарить будет.

Но не только минуты, а и слова у нас, у диспетчеров, считанные. Болтливый диспетчер на дежурстве — пропащий человек. Чтобы пропустить поезд, два-три слова довольно сказать станции: «Отправить сто сорок третий», или: «Открыть двадцать седьмому семафор». А болтливый целую речь перед громкоговорителем произнесёт.

«Колпино, — скажет, — послушайте-ка, Колпино, там у вас сто сорок третий под семафором стоит. Отправьте-ка его поскорее, пожалуйста. Что? Здравствуйте, Иван Иванович... А вы как? Там отправьте, пожалуйста, сто сорок третий».

С одним Иваном Ивановичем проканителится, а девять поездов из расписания выведет. Смотришь, и запорол движение. Сам диспетчер запорол.

Поэтому у нас устав: полтора разговора полагается на поезд. Это семь слов. Сказал полтора разговора — и заткни рот. Поезд пройдёт как надо. А лишние слова тебе на язык набегают — глотай их. Для лишних слов на

дороге нет лишних минут.

4

Видали вы когда-нибудь диспетчерский график?

Думаю, что не видали. Это сетка, вся исчерченная слева направо и справа налево косыми красными и синими линиями. Красные линии — пассажирские поезда, синие — товарные.

Все эти линии диспетчер за своё дежурство сам прокладывает. А сетка ему даётся готовая, печатная. На самом верху листа жирная черта напечатана и надпись против черты: «Ленинград». Внизу — другая черта, это «Станция Любань». А между ними — ещё семнадцать делений. Это станции Сортировочная, Обухово, Славянка, Колпино, Ушаки и так далее, и так далее. Девятнадцать станций у меня на участке, и девятнадцать линеек на листке. Все эти линейки горизонтальные. А пересекают их вертикальные линейки: на каждые пять минут — одна линейка. Четыреста восемьдесят минут в моём дежурстве — и девятносто шесть вертикальных линеек.

Вот и работаешь. Вышел поезд из Ленинграда во столько-то часов столько-то минут. Ставишь карандашом точку на жирной черте «Ленинград» — там, где её пересекает черта этого самого часа, этой самой минуты. И ждёшь.

Через двенадцать минут, скажем, поезд в Славянке должен быть. Смотришь на часы и держишь карандаш наготове.

— Славянка в своё время! — кричит громкоговоритель.

— Понято, — отвечаешь и гонишь карандаш из Ленинграда на Славянку. И опять ждёшь. Ещё через семь минут поезду полагается блок-пост проскочить на двадцать первом километре. Проскочил. Бежит карандаш со Славянки на блок-пост. Дальше Колпино. Карандаш тоже едет в Колпино. Поповка — отправляюсь в Поповку. Саблино — тяну в Саблино. Так по пятам за поездом и веду карандаш. Если поезд хорошо идёт, то и линия под карандашом получается ровная. А если начинает сбиваться с ходу — карандашная линия тоже ломается. Вот я и без телескопа вижу, как поезд идёт. Хоть бы он за триста километров ушёл, а от диспетчера не спрячется. Громкоговоритель с каждой станции о поезде диспетчеру докладывает.

Но лёгкое было бы у меня дело, если бы я только за одним поездом следил. Поездов у меня десятки, каждому на графике надо путь проложить. Один до Колпина довёл, другой уже до самого Рябова, а третий на жирной черте ещё только точкой стоит.

Друг за другом выходят из Ленинграда поезда. Десять минут — и поезд, десять минут — и поезд, десять минут — и поезд... Не отдельные ниточки уже у меня на сетке, а целые кисти. Правильно идут поезда — кисти точно гребнем расчёсаны, нитка к нитке. А то вдруг будто ветер выхватит какую-нибудь нитку, да и сдует её в сторону. Значит, сбился поезд с ходу, поперёк дороги другим становится. Я сразу — за ключ. Кричу в громкоговоритель:

— Убрать тридцать пятый номер на запасный. Выпустить вперёд пятьдесят седьмой.

Опять выровнялись поезда, опять нитка к нитке укладывается. Только вот с тридцать пятым как же мне быть — с тем, который я на запасный убрал? Ведь у меня точное задание: прогнать за дежурство пятьдесят девять поездов по участку. А я один поезд выкинул... Вот тут-то и задача!

Выкинуть поезд с главной линии — не шутка. Самое простое дело — выкинуть. А как обратно его между поездами втиснуть? Как нитки на графике раздвинуть, чтобы этому застрявшему поезду путь проложить?

Иной раз бывает: погорячишься. Кинешь поезд на запасный — а тут валом накатятся поезда и запрут его на полдороге. Так и сдаёшь дежурство. Принял пятьдесят девять, сдал пятьдесят восемь. Это со мной часто случалось, когда я новичком был.

А теперь не так. Сидишь на дежурстве, а в голове у тебя математика. Соображаешь: есть ли расчёт выкидывать поезд на запасный? Не запрут ли его на запасном другие поезда? Будет ли щёлка опять ему на главную линию выскочить? И велик ли от этого барыш? В минутах высчитываешь, много ли другие поезда выгадают, если я этот поезд с линии сниму. И на рубли прикинешь — сколько же это он топлива сожжёт понапрасну, если я его без хода час-полтора продержу?

Нет уж, на запасный путь ставить — это самый крайний случай. Опытный диспетчер вовремя машиниста подхлестнёт: «Уходи, такой-этакий, тридцать пятый, не путайся под ногами! Уходи, чтобы и духу твоего не было!» Взглянешь минут через десять на график — ага, понял машинист намёк. Загнулась его кривая сразу вниз. Загнулась и уже выровнялась с остальными поездами. Нитка к нитке ложатся опять пути поездов.

А бывает, что не подхлестнуть машиниста надо, а придержать. Горячие машинисты больше всего марают график диспетчеру. Выйдет из Ленинграда — и ну гнать, ну гнать! Думаешь, он ещё на перегоне где-нибудь, а он уже на станцию заскочил. Ловишь на станции — куда там, он уже дальше на перегон удрал. Ну, прикажешь следующей станции на

запасный путь ему стрелку сделать. Он и влетит туда, как в ловушку. Выдержишь, какое полагается, время и пускаешь его дальше по расписанию. На графике линия у него, понятно, порченная получается — коверкает тебе линию такой поезд.

Многое тут от машиниста зависит. Хороший машинист ногами чувствует, как идёт его поезд. У него уж не собьётся со скорости паровоз. А если начнёт сдавать машина хоть на полминуты, машинисту сразу ноги скажут. Рванёт ручку регулятора — и уже выправил ход. Да мало, что выправил, а ещё поддал пару в цилиндры, чтобы минута времени в запасе оставалась. Настоящий машинист всегда минуту про запас держит. Ему и на часы глядеть не нужно. Если не чувствуешь своей машины — и часы тебя не выручат.

С хорошим машинистом приятно на паровозе проехаться. Особенно если скорый паровоз — буква «С» — или «Элька», буква «Л».

Видели вы «Эльку»? Да её и по голосу сразу узнаешь. Не гудок — оркестр. Восемьдесят километров в час, сто километров даёт паровоз. В топке — рёв, голову высунешь в окно — не то что фуражку — волосы, кажется, с головы сорвёт. А ход ровный, плавный, не рвёт машина, не кидает. Машинист нацедит себе стаканчик чаю, примостит его на котёл, к арматурному патрубку, — даже не расплещется чаёк. Вот это ход!

Когда «Эльку» на график примешь — будто кто ножом полоснул по сетке. Глядеть любо!

«Элька» не всякие поезда водит. Под какой-нибудь товарно-пассажирский или хозяйственный её не поставят. А случилось вам на «Красной стреле» ездить? Вот это «Элька».

Со скорыми поездами дело иметь диспетчеру — одно удовольствие. Эти не подведут. Даже если и задержится где-нибудь в пути скорый, за один перегон своё время наверстает. И машины у скорых первоклассные, и машинисты первого класса. А главное — чистая с ними работа. Каждая станция семафор перед ними наготове держит. Полтора часа — и скорый в Любани, к соседнему диспетчеру ушёл.

А с другими поездами хлопот диспетчеру гораздо больше. Особенно с товарными.

5

Товарные поезда мы ночью вываливаем на линию — к ночи на линии попросторнее. И вываливаем мы их целыми пачками. Шестисотые номера — одна пачка, семисотые — другая. Девятисотые номера — третья пачка. А в каждом поезде до сотни вагонов. Чуть ли не с полкилометра каждый

поезд.

Не всякий паровоз такую штуку вытянет. А вот «Щука» — буква «Щ» — вытягивает. «Щука» — это наш тяжеловоз. Кричит «щука» басом. Такой голос ей полагается по форме. А с виду это не очень крупный паровоз. И ходит не шибко — до «Эльки» ему далеко. Колёса у «Щуки», как зубы — мелкие, цепкие. «Элька» — та размашистым колесом берёт. Повернёт колесо — и сразу ушла вперёд на полдесятка метров. А «щука» не торопится, тяжело налегает колесом на рельсы и зато вон какую махину вытягивает.

Ползут товарные, кряхтят, протащатся пять-шесть перегонов и станут. Воды им надо подплеснуть в тендер, пар поднять до полного давления. И пока стоит товарный на станции, у диспетчера на графике целая ступенька вырастает. Чем больше минут простой, тем шире ступенька. Посмотришь после дежурства на график, а товарные поезда двадцать лестниц тебе начертили.

Хуже нет, если заминка на перегоне случится, когда товарные один другому в затылок идут. Начнут тормозить, останавливаться где попало — пропадёшь тут с ними. Станет какой-нибудь семисотый номер — тысяча тонн на колёсах, — его потом с места не сдвинуть. Особенно зимою, в мороз. Чуть снежок припорошит ему колёса — смотришь, он уже к рельсам примёрз. Поди отдирай его. Давай ему рабочих с лопатами, гони с соседней станции толкача.

Ничего не скажешь, хлопотливое дело товарные поезда по графику водить. Хлопотливое, а нужное. Без товарного поезда ни хлеба в города не доставить, ни кирпича на новостройки, ни трактора в колхоз. Да и пассажирские поезда без товарных ходить бы не могли. Ведь уголь-то для буквы «С» и нефть для «Эльки» кто подвозит? Товарные.

Товарные поезда у настоящего диспетчера первое место занимать должны.

6

Выходят все эти шестисотые, семисотые, девятисотые номера на линию ночью — с Сортировочной станции.

Когда едете поездом из Ленинграда, вы можете сами увидеть Сортировочную. Она тянется пять-шесть километров. Такая станция есть не только в Ленинграде, но и на каждом большом железнодорожном узле.

Пассажирские поезда на Сортировочной не останавливаются. Ни вокзала там не увидите, ни перронов, — одно чистое поле. И в поле — рельсы. словно плугом обходили поле да в каждую борозду рельсы клали

— столько их там. И на всех рельсах стоят вагоны: сверху на крыши посмотреть — целый город.

Сортировочную станцию проще всего сравнить с мешком. С утра до вечера, с вечера до утра набивают её гружёными вагонами. От каждого завода на Сортировочную проложены пути. Нагрузят на заводском дворе вагоны, навесят, как полагается, пломбы — и пошёл вагон на Сортировочную.

А водят вагоны с заводских дворов на Сортировочную и обратно особые паровозы— «Овечки». Называются «Овечками» они потому, что у них буквы «Ов» на тендере. Ну, уж крикливее паровоза нету! Прямо скажу: пронзительный голос у «Овечки»! Соберутся они на Сортировочной — и такой концерт зададут, что ушам больно. Хорошо, что станция за городом.

А был один раз случай. Переменили деповские рабочие на «Овечке» гудок — то ли они для смеху это сделали, то ли по просьбе машиниста, любителя паровозной музыки.

Но только прикрутили они «Овечке» такой гудок, какого никогда даже на «Эльке» не бывало. Прямо-таки хор. Потянет машинист за ручку — и запоёт «Овечка» в три-четыре голоса. Думают на линии — это какой-нибудь новый сверхскорый паровозище валит, а это просто «Овечка» номер 31-47 по подъездным путям пробирается. Да ещё самая старая «Овечка», выпуска 1901 года. Семенит она мелкими колёсами и не своим голосом кричит.

На всей Сортировочной в этот день переполох был.

А другие «Овечки» ничем одна от другой не отличаются, только номера у них разные.

Юркие это паровозики! Они вагоны и соберут, и по путям их расставят, и туда сбегают, и сюда поспеют. Круглые сутки носятся «Овечки» по Сортировочной. Тысячи три-четыре вагонов другой раз натолкают с заводов на станцию — глядишь, за ночь уже и рассортировали их, подобрали по адресам, выставили в затылок. Сцепщик обойдёт, свинтит вагоны — и готов поезд.

Докладывает диспетчеру Сортировочная:

— Принимайте!

— Понято, — отвечает диспетчер.

В дальнюю дорогу вести состав — это уже не «Овечиное» дело. Тут уж к выходным путям «Щуки» из депо подкатывают. Отцепят составители «Овечку», взвизгнет она на прощанье и побежит по своим делам. А «Щука» ответит ей басом и возьмёт состав на крюк.

С этой самой минуты попадает состав на график к диспетчеру.

Но плох тот диспетчер, который ничего, кроме своего графика, знать не знает. Чтобы порядок на линии был, надо диспетчеру иной раз и самому на линию показаться. Конечно, не во время дежурства — тогда и на шаг от громкоговорителя не отойдёшь. А вот в свободные часы не мешает нашему брату сесть на паровоз и проехаться по участку. Проедешься — и сам своими глазами увидишь, почему это сегодня на Навалочной цистерны три часа под выгрузкой торчали или отчего в Рябове каждый раз под семафором поезда держат: сигналист ли там зевает, или дежурный по станции шляпа?

Только лучше всего диспетчеру не с пассажирским, а с товарным составом ездить. С товарным его меньше всего ждут. Это ему и на руку. Приедет на место и всё как есть увидит, без прикрас.

Я ни одной шестидневки не пропущу, чтобы до Любани не прокатиться. Зато уж спокоен за свой участок на дежурстве. И Рябово, и Обухово, и Тосно, и все другие станции не только по голосу теперь знаю, но, можно сказать, и в лицо.

Запишешь во время дежурства на листок, что тебе твой график портило — операторов, которые сведения о поездах задерживали, деповских дежурных, которые тебе паровозы вовремя не подавали, — а потом и поедешь по душам с ними беседовать.

Помню, как однажды застрял у дежурного на станции Саблино товарный номер 631. Шёл он с импортным грузом, со станками последней модели для московского завода «Шарикоподшипник». Станки эти срочно выписали из-за границы, заплатили за них золотом. В Ленинградском порту при разгрузке парохода специальный субботник устроили. Тут же на месте в порту состав сформировали, помимо всякой Сортировочной, и к нам на главную линию перебросили.

Я его сквозным маршрутом отправил повышенной скоростью — от Ленинграда до самой Москвы без передышки.

В этот день я как раз на линию собрался. Сдал в восемь часов утра дежурство и выехал с дачным поездом.

Приезжаю в Саблино. Смотрю в окно вагона и вижу: напротив нас какой-то длинный товарный состав стоит, и на всех вагонах мелом написано: Москва, Москва, Москва.

Вот, значит, как мой товарный экспресс без передышки идёт. Сорок километров прошёл и застрял в Саблине. Всего только шестисот километров до Москвы не доехал!

Выскакиваю из вагона (а раньше я и не думал в Саблине выходить) и

бегу искать дежурного по станции. Попался мне по дороге проводник с московского товарного.

— Почему, — спрашиваю, — стоите здесь?

— Да дежурный отставил.

— Как отставил, зачем?

— А не знаю. Прицепку собирается делать. Вагон тут у него какой-то с прошлых суток заночевал; он и хочет сплавить его в Любань, пока диспетчер не хватится.

— Вот как, — говорю, — пока не хватится?

Смотрю — и сам дежурный является. Он из-под вагона вынырнул.

Увидел меня — и чуть было обратно под состав не нырнул.

— Это что, — спрашиваю, — у вас московский отдыхает?

— Московский, — говорит. — Мы сейчас на выход ему дадим.

— А почему до сих пор не дали?

— Не успели, товарищ диспетчер, все буксы проверить надо было, а в трёх вагонах даже новую набивку сделать. В Ленинграде вот недосмотрели, а у нас простой выходит.

— Вот как, — говорю, — значит, Ленинград виноват... А что за вагончик вы тут к сквозному маршруту прицепляете?

Заморгал глазами дежурный, а я к селектору — ленинградского диспетчера вызываю — моего сменного.

— Как у вас московский товарный значит?

— На простое в Саблине, — отвечает. — Нагон пара. Высылаю резервный паровоз.

«Вот, — думаю, — ловкач дежурный. Он, значит, всем по-разному врёт. Мне — что буксы виноваты, а в Ленинград — что машинист пар нагоняет. Нагону же я ему пару!»

Выхожу я на перрон, а мой московский уже за семафор хвост убирает.

Ведь вот как быстро его отправили, или, как у нас говорится, «вытолкнули»!

Ну, и с дежурным этим мы быстро покончили: тоже «вытолкнули».

8

Не сразу, конечно, и из меня диспетчер получился.

Помню, привели меня первый раз на диспетчерское дежурство.

Я — старый железнодорожник, насквозь паровозным дымом прокурен.

Октябрьская наша дорога ещё Николаевской называлась, ещё у нас орлы двуглавые на билетах печатались, ещё генералы в шинелях на зелёной

подкладке управляли дорогой, — а я уже работал. Телеграфистом на станции второго класса торчал, точки-тире выстукивал за двадцать пять рублей в месяц. Ну, тогда каждая станция за себя действовала — без всякого диспетчера. По своему разумению принимала и отправляла поезда и на запасный путь выкидывала. Да ведь движение-то в сущности пустяковое было. Стрелочников да путевых сторожей нельзя было и железнодорожниками назвать — уж скорей огородниками. Вылезет стрелочник из своего огорода, сделает стрелку поезду или флажок зелёный покажет — и опять брюкву полоть.

«Диспетчер» — и слова такого мы не слышали в те времена...

Диспетчерская служба у нас с революции появилась. В хозяйстве — план, на заводах — план. Значит, и грузы по железной дороге надо возить по плану.

Вот тут-то и понадобился диспетчер с графиком. Посадили его управлять всеми станциями, всем движением поездов.

А я уже к тому времени на станции первого разряда работал, на крупной станции. И не телеграфистом, а помощником начальника. Набрался там опыта. Движение поездов и всю железнодорожную механику я уже вдоль и поперёк знал. Ну, вот и назначили меня диспетчером, привели в дежурную комнату на первый круг. С неделю я у диспетчерского стола стоял. Смотрел, как диспетчер карандашом по бумаге водит. А потом диспетчер посадил меня к столу, а сам у меня за спиной стал.

Начал и я понемногу график чертить. Пока у меня всё благополучно шло, я самостоятельно работал. А как только выскочит у меня какой-нибудь поезд из своего времени — я сейчас назад оборачиваюсь, к диспетчеру.

— Как? — спрашиваю.

— Так и так, — говорит.

Работали мы с ним около месяца — ладно дело получалось. А потом он и ушёл, диспетчер-то. Ушёл и оставил меня одного — с графиком, селектором и громкоговорителем.

Вожу я карандашом по графику, а мысли собрать не могу. Громкоговоритель мне в уши орёт, хрипит, карандаш у меня ломается. То и дело счёт поездам теряю. Вот, думаю, какой-нибудь забуду, вот не доведу до Любани.

Ведь это же поезда, а не шашки на шашечнице. Напутаю я здесь, наворочаю — на всей линии ералаш тогда получится; и столкновения, и крушения, и чёрт его знает что.

Уши у меня горят, сердце, как у кролика пойманного, стучит, а убежать нельзя.

Вот так попал в переделку!

Громкоговоритель спрашивает меня:

— Отправлять сто одиннадцатый, отправлять?

А я с перепугу да второпях и сам не знаю, отправлять его или не отправлять. Я даже и на графике его найти не могу. Вот ведь, когда у меня за спиной диспетчер стоял, — так я сразу любой поезд находил. А тут вдруг все клетки, все линии перепутались — настоящая паутина, а я как муха в ней.

Сменили меня, как сейчас помню, ровно в двадцать четыре часа — по-вашему, в двенадцать часов ночи. Пришёл сменный диспетчер. Посмотрел на мой график — и ничего, все поезда на месте оказались. Принял от меня дежурство. А я, за стенки держась, из диспетчерской выбрался и еле-еле по лестнице сполз.

Вот как я учился.

Дело прошлое, а долго у меня язык не поворачивался, совести не хватало диспетчером себя назвать. Теперь-то что! Теперь я в дежурную комнату как домой к себе вхожу.

Проверю часы, осмотрю селектор, график, перелистаю журнал и — за стол. Руки и ноги сами свои места занимают и начинают работать: одна рука график чертит, другая ключи селекторные поворачивает, а нога педаль нажимает.

И главная забота в это время — так поезда провести, чтобы ни одна дряблая нитка на график не легла, чтобы струнами протягивали свой след поезда на графике. Чтобы пятьдесят девять поездов без минуты опоздания в соседнюю комнату уходили. Бывает, что удаётся так сработать. Ну, тогда после дежурства идёшь весело, с третьего этажа вниз, как школьник, скатываешься. А бывает, что идёшь по той же лестнице вниз и думаешь: бить тебя не били, а следовало бы. Линии на твоём графике разбрелись, разъехались. Перед сменным дежурным совестно!

Остановишься на лестнице и спрашиваешь себя: как же это так вышло, товарищ диспетчер?

Машинисты виноваты? Нет, машинисты исправно поезда вели. Дежурные по станции? И эти не зевали — своё дело делали. Сигналисты? Кондуктора? Сцепщики? Путевые сторожа? Да нет, все они ладно работали, приказания твои исполняли. Тут и признаешься себе: сам виноват — где поторопился, а где и проканителлся.



9

Самое трудное в нашем деле — диспетчерские задачи решать. Бывают задачи и посложнее и попроще, а решать их надо сразу, иногда в одно мгновение.

Подчас и рисковать приходится, хотя это по уставу не положено. Но ведь всего устав не предусмотрит. Устав ведь рассчитан на нормальный график, — скажем, на 59 поездов.

А вдруг тебе какой-нибудь шестидесятый, а то и шестьдесят третий подбросят?

Вот и справляйся как знаешь. Хочешь не хочешь, а рискуй. Правда, за каждый риск ты отвечать будешь. Этого забывать не следует.

Устав уставом, а свою голову надо на плечах иметь. Возьмём, например, опоздания. По уставу поездам и вовсе опаздывать не полагается. А они иной раз опаздывают. Вот и строй новую комбинацию на графике.

Хорошо ещё, если один поезд опаздывает, а если их у тебя два, или три, или ещё больше?

Тут уж ты прямо фокусником должен быть, жонглёром: один подхвати, да другой не упусти, да третий поймай.

А главное — виду не подавай, что ты волнуешься или сомневаешься. Отдал приказание — держись его. А начнёшь менять свои приказания, мямлить у селектора — вернее всего впросак попадёшь. Растеряются все на линии и пойдут путать. Дежурный засуетился, сигналист поднимет крыло семафора на выход, а перед самым паровозом переключит на три крыла — на запас. Машинист запутается вконец и разгонит состав на полный ход. Вот и

врезается поезд в тупик, перебьёт в щепки вагоны.

Нет, лучше уж рисковать, чем мямлить.

Был у меня такой случай.

Отправлял я не так давно машины — доменные воронки — на Урал, Магнитострою.

Обычно грузы на Урал через Вологду идут. Другой диспетчер ими распоряжается. А тут забили Вологодскую линию товарными поездами — вот и пришлось доменные воронки через Москву, по Октябрьской дороге гнать. А Октябрьская — это уж мой участок. Значит, мне эту задачу и решать.

Выкатили гружёные вагоны с заводов. Днём ещё выкатили, часа в четыре дня — по-нашему, в шестнадцать часов. А пока согнали вагоны на Сортировочную, пока сформировали поезд, пока документы ему выправили, — подошло дело к вечеру. Надо сразу отправлять — груз-то ведь экстренный...

Вечерние часы у меня, у диспетчера, вроде петли на шее. Днём-то ещё ничего, на дневном дежурстве и чаю попьёшь и в стакане ложечкой помешаешь... А вечером только дышать успевай. Пачками кидаешь на линию поезда из Ленинграда. Вокзал, перроны переполнены пассажирами. Рабочие заводов, служащие, дачники, курортники, командированные — всех надо вывезти за город, каждый билет взял. Кидаю пассажирские поезда пачками, а экстренный мой, с доменными воронками, всё ещё стоит. Никак не могу его прихватить в пачку да из Ленинграда вытолкнуть. Для этого надо какой-нибудь пассажирский выдернуть, а на его место сунуть товарный с воронками. А ведь каждый пассажирский поезд своё точное расписание имеет. Как же его из пачки выбросить?

Что тут будешь делать? Воронки-то ведь не завтра, а сегодня отправить надо. Приказ от директора дороги. Да и без приказа я понимаю, как ждут этих воронок на Магнитострое. Без них ведь домны отстроить нельзя. Может, каждый день люди на станцию выходят этот поезд встречать.

Вижу это, как перед глазами, и держу поезд на карандаше. А только вот как пропихнуть мне его на линию — ума не приложу.

Схлынули у меня наконец пригородные поезда — пошли дальние. На Иркутск, на Петрозаводск, на Москву. Полоцкий... Новосибирский... Ещё на Москву. Опять на Москву. Ну, не передохнуть...

Звонят из управления дороги: «Как воронки? Отправлены? К ночи готовятся ещё два экстренных состава с машинами в Донбасс... Необходимо их вогнать в расписание».

Повесил я трубку. Вот так, думаю, переплёт... На ночь вся надежда была у меня. Думал, как пропущу скорые, так и дам магнитогорский между шестисотыми. А тут... отбирают у меня ночь. Вот оно, дело-то, как повернулось...

Шарю я, шарю по графику. Тычу карандашом, тычу — никак не могу приткнуть поезд с воронками. Такая теснота... Ткнулся перед двадцать седьмым — это скорый московский — не выходит. Перед двадцать девятым ткнулся — опять не вышло. Перед тридцать первым... И перед тридцать первым не вышло. А тут на очереди уже «Красная стрела», московский экспресс. Что ж, думаю, делать с воронками? Из диспетчерской тебя сейчас не выпустят. Хоть в лепёшку расшибись, а найди место воронкам.

Кашлянул громкоговоритель:

— Диспетчер...

Гляжу на часы. Ну да, вот она и «Стрела».

— Кто у аппарата? — спрашиваю.

— У аппарата первый светофор. «Красная стрела» готова. Подаём из парка к вокзалу.

— Понято, — говорю, — подавайте...

Ткнул я карандашом в график — поставил точку. Хрустнул мой карандаш, поломался. И чинить я не стал. Отбросил карандаш, взял новый. Что ж, остаётся теперь только дорожку «Стреле» приготовить. Вызываю линию, отдаю приказание:

— Убрать поезда на запасный. Освободить путь — «Стрела» пойдёт.

Все поезда, какие есть на линии, тут обязаны посторониться. Иной поезд, может, километров пятьдесят уже от Ленинграда отмахал, возле Тосно где-нибудь погромыхивает, а тронется «Стрела», от перрона только оторвётся — должен уж этот поезд во все лопатки к ближней станции катить и с ходу на запасный путь укрыться.

На пятьдесят километров путь чистый должен быть перед «Стрелой». Такое правило. «Стрела» ещё из Ленинграда снимается, а её уже в Малой Вишере встречают. Вот как!

Сто шестьдесят километров до Вишеры одним духом «Стрела» проходит. В Вишере чуть передохнула — катит без остановок до Бологого. А Бологое — уже полпути до Москвы. Вот какие у «Стрелы» перегоны! Все станции побоку. Обухово, Славянка там, Тосно, Ушаки — вроде путевых будок для неё. Только в окнах помигивают.

Повернул, значит, я селекторный ключ — отдал приказание очистить линию. Стоит «Стрела» у вокзала, под стеклянной крышей. Ей ещё и паровоз из депо не подан, проводники в белых перчатках только ещё

первых пассажиров встречают, по вагонам рассаживают, — а путь для «Стрелы» до самого Тосно уже расчищен.

А всё-таки — как же быть с воронками?

Встал я, прошёлся по комнате, опять сел.

И, понимаете ли, решился я. Повернул опять селекторный ключ:

— Депо? Машиниста Коротаяева позвать.

Вызвали Коротаяева. Поздоровался я с ним на этот раз, хотя и не полагается этого по правилам. И спрашиваю:

— Как, — говорю, — чувствуешь себя? «Щука» твоя исправна ли?

— Оба, — говорит, — в исправности — что я, что «Щука».

— Очень рад, — говорю, — а теперь слушай меня, Коротаяев. Можешь ли ты на своей «Щуке» от «Стрелы» ускакать? С товарным поездом в шестьсот пятьдесят тонн, с доменными воронками?

— От «Стрелы»?..

Замолчал громкоговоритель.

— Ну, как, — спрашиваю, — Коротаяев, поедешь или нет? Я тебя не неволю.

Молчит громкоговоритель.

Отпустил я педаль и выключил Коротаяева.

А сам взял резиночку, сию, подчищаю следы поездов на графике. Ничего, значит, не поделаешь. Так тому и быть. А скоро мне смена.

Разве приказание отдать Коротаяеву? Ну, прикажу — я ведь каждому машинисту по службе приказать могу. Прикажу — поедет Коротаяев. Потащится его «Щука» с воронками, отъедет двадцать семь километров за час, законную свою норму... Так разве это мне надо? Мне надо, чтобы взревела «Щука», чтобы чёртом понесла... От «Стрелы», от «Эльки» чтобы удрала — вот что мне надо.

Не кого-нибудь я и вызвал для этого дела, а самого Коротаяева. Коротаяев — лучший машинист товарных поездов.

Сию, подрисовываю свой график и думаю: если уж и Коротаяев меня выручить отказался, значит... И додумать я не успел. Гаркнул громкоговоритель:

— Диспетчер, Николай Петрович!

Коротаяев! Сразу его по голосу узнал. Дух у меня перехватило.

— Так и быть, поеду с воронками. Отдавай приказание. Только скажи ты мне, пожалуйста: долго ли мне от «Стрелы» улупётывать придётся?

Хотел я было крикнуть: «Друг ты мой милый, Коротаяев, вот выручил!..» Да некогда разговаривать, нежности разводить. Говорю официально:

— Уходить надо от «Стрелы» самое малое до Ушаков. Шестьдесят три километра. А с Ушаков уж легче будет, с Ушаков я вас в график смогу втиснуть. Выводите паровоз.

— Понято! Паровоз под полными парами...

Я — за циркулярный ключ. Этот ключ разом все станции вызывает.

Зашумели в громкоговорителе все мои девятнадцать станций, сопят, побрякивают. Насторожились, видно. Ещё бы! Циркулярный вызов, экстренный...

— К «Стреле», — спрашиваю, — готовы?

— Готовы, — говорят.

— Так вот, слушайте: перед «Стрелой» я выпускаю особо срочный груз на Урал, Магнитострою. Проталкивайте его обеими руками. До Ушаков или за Ушаки, не ближе.

— Понято, — отвечают все сразу. По голосам слышу — поняли станции положение.

— А каким номером, — спрашивают, — пойдёт поезд?

— Двухтысячным. Даю ему две тысячи третий номер.

— Понято...

У нас, у диспетчеров, есть правило. Когда снаряжаешь сверх графика поезд, давай ему свой особенный номер. А те поезда, что по графику ходят, — как вам уже известно, — постоянные номера имеют.

Отправляют мой двухтысячный.

Уйдёт или не уйдёт?..

Гляжу на часы. Отсчитала стрелка минуту. Переползла на вторую. Ползёт, ползёт... Тьфу ты — как букашка тащится, сил нет больше на стрелку смотреть. Подвернулась газета. Читаю объявления, под объявлениями — фамилия редактора. Под редактором — значки непонятные: номер... типография... заказ, опять номер... Да, думаю, номер. Будет мне номер, если Коротаяев с воронками не прорвётся...

Не утерпел я, вызвал Обухово — первую станцию по ходу поезда.

— Как двухтысячный, — спрашиваю, — не видно? Не подходит?

— Да проскочил уже, — говорят. — Минуты четыре, как проскочил.

— Тьфу ты! Что ж вы не докладываете?

— Сигналист тут у нас напутал, товарищ диспетчер. Кричит с башни: «Стрела» прошла!» — «Какая, — говорю, — тебе «Стрела» — разве время «Стреле»? Это товарный был». А сигналист — своё: «Товарные так не ходят. Этого пулей пронесло...»

Дальше я и слушать не стал. Отпустил педаль — захлопнул рот Обухово. Вот так, думаю, разогнал машину Коротаяев. Вот катит... Ведь

уйдёт от «Стрелы», уйдёт, чёрт бы его побрал... А вдруг да сорвётся? Вдруг пару ему не хватит, а?.. Ёрзаю на стуле — никакого терпения нету. Руку не снимаю с ключа. Требую Колпино — следующую станцию:

— Как двухтысячный? Не слышно у вас?

— Не слышать...

Тут меня Ленинград-пассажирский перебил:

— Диспетчер!

Надо же в такую минуту!

— Ну, что вам? — спрашиваю. — Говорите покороче.

— Отправляется «Красная стрела»... — И пошёл, и пошёл тараторить громкоговоритель: — Паровоз «Элька» девяносто семь. Машинист Гарный. Кондуктор Липатов. Вагонов двенадцать, осей сорок восемь.

Слушаю я рапорт, а сам зубы стиснул.

— Понято, — говорю. — Отправляйте «Стрелу».

Сел я поплотнее на стул. Вот оно, думаю, когда начинается.

Тормошу опять Колпино — уцепился за ключ, не отпускаю. А рука дрожит.

— Где двухтысячный? — кричу. — Двухтысячный? Да отвечайте же! Подошёл? Нет?

— Да постоит, — бормочут что-то из Колпина. — Товарный... экспресс... «Щука»...

— Говорите ясней! — кричу я. — Докладывайте по форме.

— Две тысячи третий... прошёл Колпино... ноль часов двадцать восемь минут...

— Понято, — отвечаю ему.

Гляжу на часы. Ну, держись, Коротаяев! Ну, держись!

Сорок минут продержишься — и выскочим мы с воронками. Пар бы только не сел в котле! Пару бы тебе, пару!

Летят два поезда на моём участке — воронки впереди, «Стрела» сзади. Гаркает громкоговоритель с линии — то один поезд выкрикнет, то другой:

— «Стрела» Славянку миновала...

— Двухтысячный Саблино проскочил...

— «Стрела» — Колпино...

И вижу я, как «Стрела» перегоны проглатывает, как режет она, кромсает мой график. И настигает Коротаяева — всё ближе, ближе...

Вижу, как она раскидывает прожекторами ночь, обшаривает рельсы, шпалы...

Вижу, как нащупывают её прожектора маленький красный фонарик

впереди — это хвост коротаевского поезда. Не уйти Коротаеву...

Нет, ещё может уйти, ещё может... Эх, был бы я на паровозе... Сам бы у топки стал.

Час три минуты ночи. От Саблина до Тосно ему минут двадцать идти. Молчит Тосно. Нету Коротаева...

Час пять минут... Нет... Час восемь. Да что с ним?

Час девять минут.

Двухтысячный прошёл Тосно.

Дежурный докладывает: проскочил по главной. Коротаев что-то кричал с паровоза, а что кричал — в грохоте не слышать было.

Да я и сам догадываюсь, что мог кричать Коротаев. Выдохлась «Щука». Не выходит у него дело... Минуты бы на три ей раньше в Тосно прийти, — а то «Стрела» ей на хвост насадет. А ведь вот же, вот они — Ушаки... Последний перегон остался — и на тебе.

Час двадцать минут ночи. «Стрела» тоже Тосно проскочила. Догоняет... В десяти минутах друг от друга поезда. Эх, чёрт... Придётся захлопнуть перед «Стрелой» семафор. А то налетит.

Требую блок-пост. Руки не спускаю с ключа. Обеими ногами выжимаю педаль.

Сейчас покажется «Стрела» у блок-поста... Сейчас увидит её сигналист... Прикажу ему захлопнуть семафор...

Да мыслимое ли это дело — задержать «Стрелу», да ещё на каком-то дрянном перегонишке?!

Сижу я. Рука на селекторном ключе.

— Подходит! — кричит мне громкоговоритель. Это сигналист с блок-поста докладывает. — Огни показались, товарищ диспетчер. «Стрела» идёт. Перевёл я дыхание... и выпалил:

— Закрывайте!

— Что? Закрывать? — спрашивает в испуге сигналист. — Товарищ диспетчер...

И вдруг громкоговоритель затрещал другим голосом:

— Я — Ушаки. Принимаю двухтысячный.

— Ушаки? Да не может этого быть! Пойдите! Блокпост, пропустить «Стрелу». Ушаки! Позвать Коротаева.

— Здесь я, товарищ диспетчер, у селектора.

— Ты, Коротаев?

— Я самый.

— Успел? Пришёл?

— Прибыл благополучно. На три минуты от «Стрелы» удрал. Еле от

неё хвост утянул. К Ушкам-то, сами знаете, какой подъём...

— Молодчина ты, Коротаяев. Классный машинист. А я-то уж и не надеялся. Думал, скис ты. Я даже «Стрелу» останавливать хотел.

— Да что вы, товарищ диспетчер! Я ж кричал в Тосно дежурному, что уйду от «Стрелы». А ход я нарочно придержал, чтобы к подъёму пар накопить. Поднял я пар и взял подъём. Иначе у меня не выходило никак, товарищ диспетчер. Как раз я и сел бы иначе-то...



КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ



Топкий берег озера Разлив сейчас покрыт асфальтом. К услугам туристов автобус. Сошёл с поезда — и через несколько минут у шалаша Ленина. На коротком двухкилометровом пути проносятся, обгоняя автобус или навстречу ему, легковые машины. Туристам заботливо предоставлены все удобства в путешествии к шалашу. По-видимому, так и надо...

Но берег Разлива был мне милее в его естественном состоянии. Идёшь, бывало, тропинкой, след которой то и дело пропадает в траве. Журчат ручьи, стекая из болота в озеро. На мелководье у берега вдруг блеснёт, как рассыпанные иголки, рыба мелкота — и исчезнет в глубине. В густых болотных зарослях крикнет неосторожная, ещё молодая утка — и на «полуслове» умолкает: видать, почуяла всё-таки человека или от мамы-кряквы влетело за беспечность.

Шагаешь по берегу, и ещё задолго до того, как среди ветвей проглянет шалаш, тебя осеняет радость предстоящего свидания с Ильичём... Как любил он природу, и сколько им самим исхожено земли!

И невольно среди туристов, устремляющихся к шалашу, выделяешь группы пешеходов. Одежда и обувь пропылились, глаза жадно примечают каждый кустик, камень, клоч сена, пенёк. Всё, всё, что видят здесь эти люди, на всю жизнь останется в их памяти.

Расскажу, почему я сам предпочитаю ходить в Разлив пешком. Вспоминается это место в дни ленинградской блокады...

...Однажды наше подразделение вывели с передовой. Было приказано следовать в тыл, двинув с собой снегоочистители. Стояли морозы, навалило много снега, вдобавок несколько дней и ночей свирепствовала

вьюга. Дороги, служившие для подвоза к передовым линиям боеприпасов и продовольствия, сделались непроезжими, а иные и совсем пропали под снежным покровом. Всё это очень осложнило боевую деятельность войск, и сапёры всего фронта — а нас немало — были брошены в бой против снегов.

Сапёры расчищали дороги, и, признаться, для моего подразделения оказалось неожиданным, что нас послали в сторону от дорог, к озеру Разлив. Недоумение возросло, когда близ места назначения мы повстречали артиллерийский полк, передвигавшийся по тылам. И как раз он шёл со стороны Разлива. Если артиллерия прошла, значит, путь в порядке? А мы со снегоочистителями... Непонятно! Но приказ есть приказ — обязаны прибыть в Разлив.

Чтобы стало ясно дальнейшее, надо представить себе этот полк. Я видел его в самом начале войны. Он имел орудия на конной тяге. Это обеспечивало в условиях болот повышенную манёвренность: кони способны лихо развернуть орудия на такой позиции, где механическая тяга увязла бы. Ах, что это были за кони!.. Рослые, с могучей грудью. Шея дугой. А ноги такие мохнатые, будто над копытами у коней морские клёши. Идёт четвёрка таких коней, пританцовывает, словно и тяжесть орудия ей нипочём, азартно разбрасывает с удил хлопья пены... Даже танкисты, даже лётчики, на что уж люди моторизованные, и те встречали и провожали полк восхищёнными глазами.

Я не видел полка несколько месяцев. А когда теперь вот увидел, не поверил глазам.

В артиллерийских упряжках на месте коней сами артиллеристы. Одни толпой облепили дышло и тянут вперёд орудие, другие, теснясь, нажимают сзади, помогая руками, обёрнутыми в тряпки, вращаться орудийным колёсам. Лица у бойцов измождённые, с глубокими, тёмными глазницами — печать блокадной голодовки. А кони, широкогрудые, мохноногие кони, где же они? Видно, тяжёлые бои пришлось вынести полку, если не осталось в нём ни одного коня.

...И всё-таки орудия двигались в строгом порядке, безостановочно, выдерживая уставную дистанцию. Каких усилий это стоило людям, можно было только догадываться.

Впереди полка колыхалось развёрнутое бархатное знамя. Там же с высоко вскинутой головой шагал его командир. Взгляд его выражал и гордость за своих людей и в то же время затаённое страдание. «Посмей только кто-нибудь понасмешничать над полком, — предостерегал этот взгляд, — только посмей!»

Прокалённые морозом стволы орудий были пушистыми от инея.

Все артиллеристы, и молодые и старые, одинаково выглядели седоусыми и белобородыми. Даже шинели от клубившегося в тесноте дыхания густо заиндевели. И стоило полку совсем немного удалиться от нас, как и орудия и люди словно растворились в снежном безбрежье. Только алая капелька знамени как бы продолжала плыть в воздухе.

Полк прошёл. А рассказ о нём, собственно, только здесь и начинается.

Когда наше подразделение, приближаясь к Разливу, сделало последний привал, навстречу вышел проводник от дивизии. Он и уточнил задание. Оказывается, из-за снежных заносов прекратился доступ к ленинскому шалашу. А дорогу туда надо держать открытой. Перебрасываемые с Большой земли в осаждённый город для пополнения молодые бойцы требуют, чтобы их прежде всего свели к шалашу. Присягая на верность Родине у шалаша, солдат как бы самому Ленину давал клятву победить или умереть.

Пока наши механики готовили снегоочистители к делу, мы, несколько человек, встали на лыжи, чтобы ознакомиться с предстоящей работой. Двигались, увязая в сугробах и то и дело путаясь ногами в прутьях лозняка, тонких, как силки. Вдруг покатались вниз. Глядим, мы во рву. Нет, это не ров... Мы стоим на очищенной от снега, промёрзшей поверхности болота. По всему видно, что здесь совсем недавно тоже высились сугробы. А глубина снега — мы смерили — достигала двух метров. И вот видим: снежные горы раздвинуты в стороны... Что за чудовищная сила действовала здесь? Машины? Но на размятых, истоптанных снежных откосах — многочисленные следы падения людей...

Всё разъяснилось у памятника. Здесь, перед гранитным шалашом, монументом, воздвигнутым ленинградскими рабочими в десятую годовщину Октября, мы увидели на земле немецкую каску. Сквозь каску был вбит в землю прочный берёзовый кол. И на нём на фанерной доске надпись, сделанная разными почерками:

ТОВАРИЩ ЛЕНИН! БУДЬ СПОКОЕН ЗА НАС.

КЛЯНЁМСЯ: ЛЕНИНГРАДА ИМ НЕ ВИДАТЬ.

БЕРЁЗОВЫЙ КОЛ В БАШКУ ФАШИСТОВ!

Молодые бойцы-призывники, а также старослужащие

Н-ского конноартиллерийского полка.

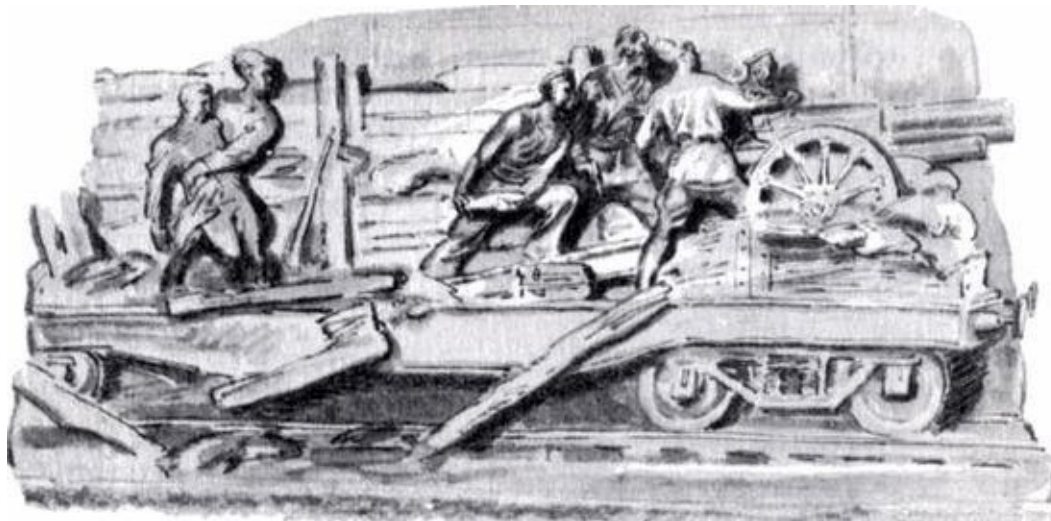
Мы переглянулись, как виноватые. Хотя и не в чем было себя упрекать: пришли в срок, без опоздания, приказ выполнили точно. И всё-

таки на душе была горечь. Не дождались артиллеристы сапёров. Не дождались снегоочистителей. Сами проложили дорогу к ленинскому шалашу. Да ещё с орудиями, в полном строю... Не дождались...

И вдруг мне подумалось: а может быть, они и не желали помощи?



ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮНОСТЬ



Однажды — это было несколько лет назад — ко мне пришёл молодой человек, отрекомендовался скульптором, назвал свою фамилию — Черницкий — и с улыбкой, какие предшествуют преподношениям, поставил на стол коробку с тортом.

Я ждал, что будет дальше.

Между тем визитёр снял с коробки высокую крышку — и оказалось, что внутри не торт. На картонном доньшке коробки лепилось что-то зелёно-коричневое, из пластилина; какие-то сбившиеся в кучу фигурки разъярённых боем людей.

Черницкий объяснил, что пластилин на доньшке коробки от торта — это только первый эскиз, из которого будет развёрнута большая настенная скульптура — горельеф — для Артиллерийского музея.

— У них пробел обнаружился. Музей артиллерийский, а артиллерия — в гражданскую войну почти и не показана! Вот и решили для экспозиции взять знаменитую шестидюймовую гаубицу, о которой вы рассказали в книге «Бронепоезд «Гандзя».

Черницкий попросил меня сесть к столу, устроился рядом и, поворачивая доньшко коробки со своей лепкой, шепотком-шепотком забормотал добрые слова, в то же время ласково заглядывая мне в глаза. Мол, раскатайся, старина, вернись к девятнадцатому году, представь себя снова на бронепоезде...

— Хорошо, — улыбнулся я в ответ на его старания. — Считайте, что ваш гипноз достиг цели: перед вами уже не старик писатель, а пылкий юноша — командир бронепоезда. Задавайте вопросы.

Черницкий принялся расспрашивать. Вот пластилиновые человечки, вот гаубица. Идёт бой. Как правильно расставить человечков? Или — вагон: похож ли на тот, что был? Спросил про одежду на бойцах. Молодому скульптору страсть как хотелось изобразить всех в будёновках. Легендарная будёновка! Но я его разочаровал. На бронепоездах будёновка не привилась: шапка высокая, а в боевых казематах низко и тесно. Так что одевались мы кто во что горазд. Мне, например, пришлось в пору трофейная касторовая фуражка.

В те времена не было лучшего материала для фуражек и шляп, чем кастор. Красивый, ноский, мягкий — погладишь рукой, а он только-только не мякнет в ответ.

В касторовых фуражках щеголяли тогда белогвардейские офицеры.

И вот однажды обратили мы в бегство белогвардейский бронепоезд. Возвращаюсь с наблюдательного пункта — догоняют разведчики, протягивают мне какую-то фуражку:

— Вот, с головы... Богуша. Сам-то, гадюка, уполз.

— А почему, — спрашиваю, — вы решили, что это Богуша? Там есть и другие офицеры.

— Его! Его! Бывшая его. А теперь — ваш боевой трофей!

Бойцы стали просить, чтобы я надел касторовую фуражку, а мне противно даже прикоснуться к ней.

Рассудил дело наш машинист с паровоза, Фёдор Фёдорович.

— Конечно, — сказал он, — нужна санитарная обработка.

Фёдор Фёдорович основательно пропарил фуражку струёй из парового котла, высушил её, расправил и подал мне.

— Носите, — сказал он. — Добрая примета: поймалась фуражка — поймается и он сам, изменник Богуш.

Приметы приметам, а Богуш всё-таки от нас не ушёл. Уничтожили его потом вместе с бронепоездом.

Рассказываю скульптору, как выглядел наш боевой вагон, и в памяти снова оживает девятнадцатый год.

После разгрома врага у Попельни и не менее тяжёлых боёв за Киев бронепоезд «Гандзя» превратился в искалеченного и уже беспомощного воина.

Штаб Щорса приказал «Гандзе» отойти в глубокий тыл, на брянские заводы, для капитального ремонта.

Бойцы с бронепоезда попали в суровые руки рабочих-металлистов.

— Про фронт, ребята, до времени забудьте. Там у вас, конечно, было геройство, но и баловства хватало. А сейчас вместо боевого приказа будет урок на работу. Вместо фронтового угощения — выпишут голодный рабочий паёк.

День на четвёрке хлеба, другой — на четвёрке... Ребята с бронепоезда опешили: «С этой пайки только помирать!» В иных некрепких головах с отчаяния зародилась даже мысль о забастовке.

Но костячок на «Гандзе» был всё-таки стойкий — из рабочих-железнодорожников, партизан, крестьян-бедняков — боевой костячок, сознательный! Ребята поняли, каково достаётся рабочему классу в тылу и где оно, если разобраться, настоящее-то, доподлинное геройство...

Сговорились — встали по заводскому гудку. С песней да с лихим присвистом вышли на работу. Спросили не просто урок, а двойной на каждого. Да и этот, двойной, выполнили с превышением!

А работы хватало. Бронепоезд ведь пришлось собирать и одевать в броню заново.

Между тем по заводу прошёл слух: «Товарищ из центра приехал. Прямо от Ленина. С каким-то важным поручением».

Это был Луначарский. Он долго ходил по цехам, осматривая стоявшие в починке и вновь строившиеся бронепоезда; толковал с инженерами и рабочими, допытываясь, какие надо предпринимать меры, чтобы бронепоезда побыстрее выходили на фронт.

Потом в большом заводском цехе был митинг. Возвышений для ораторов хватало: взбирайся на любую орудийную башню — их полно разбросано по земле. Хуже со светом: день октябрьский короток, в цехе уже полумрак, а докладчика из центра каждому хотелось не только слышать, но и видеть.

Кинулись делать факелы — железный прут, пенька, мазут — и докладчика окружили огнями.

Теперь он хорошо выделялся в тёмном провале цеха, только чрезмерно поблёскивало пенсне на носу: то ли от колеблющегося пламени, то ли оттого, что докладчик не в силах был скрыть своего волнения...

— Деникин взял Орёл! — Голос докладчика прозвучал резко и сухо, как выстрел. — Конница Мамонтова под Тулой!

Люди оцепенели. Враг в смертельной ненависти к молодому рабоче-крестьянскому государству отсекал от его живого тела кусок за куском. Уже перекрыты все хлебные дороги; отрезан юг — а это металл, уголь, нефть; отторгнута Сибирь... И вот теперь под ударом Тула, с её ружейными и

пулемётными заводами. Это арсенал республики. Потерять Тулу — значит оставить Красную Армию с голыми руками...

А докладчик не даёт опомниться:

— Юденич у ворот Петрограда! Осатаневшие банды белогвардейцев штурмуют город Октября. Новоявленные версальцы, они жаждут потопить в крови нашу славную, нашу гордую северную коммуну! Допустим ли мы, товарищи, себя до такого позора?

Докладчик закашлялся, отмахиваясь от коптящих языков пламени. Факельщики посторонились.

Некоторое время в наступившей тишине было слышно только потрескивание горящего мазута.

И вдруг — как раскат грома — тысячеголосая клятва:

— Умрём за революцию!

Кончился митинг. Рабочие и красноармейцы осадили Луначарского, к нему потянулись руки с записками.

Это были не вопросы к докладчику. Люди подавали заявления о приёме в партию.

И об отправке на фронт.

Так на брянских заводах, как и по всей стране, перед лицом смертельной опасности для Советской власти, началась «партийная неделя»...

Все бойцы бронепоезда вступили в партию. Их пришёл поздравлять Анатолий Васильевич Луначарский.

— Будем теперь считать ваш бронепоезд коммунистическим!

Бойцам выдано кожаное обмундирование. Каждый получил куртку, брюки, ботинки с крагами, кожаную фуражку. Оделись бойцы в новенькое, построились — и красиво и внушительно: будто не одежда, а боевые латы поблёскивают.

Анатолий Васильевич был гостем на самодеятельном концерте, где ребята с бронепоезда спели, сплясали, прочитали стихи.

— Кончайте войну, товарищи, и за работу, — сказал Луначарский. — Впереди у нас сказочно заманчивые дела. Будем учиться. Будем развивать культуру завоевавшего власть пролетариата — культуру, по глубине и богатству содержания ещё невиданную. Будем строить коммунизм!

Бронепоезд «Гандзя» не застоялся на заводе. Заново одетый в броню, с более мощным, чем прежде, вооружением, он был двинут под Орёл. На всех боевых постах — у орудий и пулемётов — стояли коммунисты.

Каждый понимал, что после Орла отступить уже некуда. «Победа или смерть в бою!»

На фронт прибыла дивизия Латышских стрелков; в боях с белогвардейцами она не знала поражений.

«Гандзя» вошла в колонну бронепоездов с задачей: массированными артиллерийскими ударами содействовать успеху латышей.

Двадцатого октября, после кровопролитного сражения, Орёл был очищен от врага.

ТЫ ОПУСТИЛ ПИСЬМО



КТО ЖИВЁТ В КЛЕТКАХ?

— Кто живёт в клетках?

Уже слышу ответы, бойкие и дружные голоса:

— Канарейки живут в клетках!

— Попугай!

— А у нас в клетке чирик!

— В зоопарке тоже клетки. И обезьянки в клетках, и тигры, и медведи, и серые волки...

— А у слона клетка без крыши, только забор. Потому что слон не выпрыгнет. Он очень тяжёлый.

— И у жирафа клетка без крыши. Потому что у него шея длинная, как труба. Он питается листьями с деревьев.

— Правильно. Всё правильно... А знаете, кто ещё живёт в клетках? Пожалуй, и не догадаетесь...

Письма!

Да, да, каждое отправленное письмо хоть немного, но обязательно поживёт в клетке.

Вот на улице почтовый ящик. Подходят люди и опускают письма.

Бабушка просунула в ящик открытку с картинкой. Это поздравление внучке. В город Псков.

Привстал на цыпочки школьник и тоже дотянулся до щели ящика. Он послал письмо в Москву товарищу. У школьников свои дела!

Остановился солдат. У него письмо в республику Коми. Должно быть, рассказывает матери, как красив Ленинград.

Из швейной мастерской, что напротив, выбежала девушка с напёрстком на пальце. Она на минутку, только до почтового ящика. Портниха шлёт письмо в Братск.

Всё наполняется и наполняется почтовый ящик...

Но вот подъехала маленькая юркая машина. На ней надпись: СВЯЗЬ.

Выходит шофёр, в руках брезентовый мешок.

Этот мешок — особого устройства. Подставишь его под ящик — щёлк, щёлк! — и ворох писем в мешке. А доньшко ящика опять защёлкнулось.

Поехали дальше.

Машина с надписью СВЯЗЬ снуёт по улицам и переулкам города, не пропуская ни одного почтового ящика.

Так кружит пчела, перелетая с цветка на цветок.

Пчела, набрав нектара, улетает к себе в улей.

А машина, нагружившись письмами, мчится на Главный почтамт.

Таких юрких почтовых машин колесит по городу множество. И все съезжаются к Главному почтамту.

Фырчат, толпятся машины во дворе. А большие круглые часы строго напоминают:

«Скорее сдавайте почту, скорее!»

Первым возвратился на почтамт Миша Стуколкин.

Открыл кузов машины.

Мешки полны писем и от этого толстенные, грузные.

— Ну, тюлени, выползайте! — Стуколкин кивнул на часы. — Прохлаждаться некогда! — Мешки, конечно, не пошевелились. Ведь это же только мешки. Но Стуколкин парень весёлый, любит побалагурить. Он сделал устрашающие глаза:

— Ах вы, лентяи! Ну, сейчас проснётесь!

Да как примется выбрасывать мешки из кузова.

Из кузова — да на транспортёр, на транспортёр!

А это — бегущая лента.

Подпрыгивая на ленте, мешки помчались внутрь помещения.



А вот и клетки для писем.

Долго ли здесь письмам жить?

Нет, недолго — только до поезда.

Но сперва придётся распаковать мешки.

Вот мешок из автомашины Стуколкина. В нём перемешались разные письма: тут и от бабушки — в Псков, и от школьника — в Москву, и от солдата — в республику Коми, и от портнихи — в Братск... И ещё много всяких писем. Не затолкнёшь же мешок с ними в один поезд!

Письма надо разложить по адресам.

Но на почтамт навезены горы мешков! Мыслимо ли всё это рассортировать?

А есть машина.

Эта удивительная машина напоминает гостиницу.

В ней несколько этажей, и на каждом этаже коридор.

По коридорам друг за дружкой бегут письма — разыскивают свои клетки.

Над клетками надписи: «Москва», «Псков», «Братск»...

И ведь не ошибутся! Бабушкино письмо не забежит в клетку «Республика Коми», а письмо школьника не сунется в клетку «Псков».

Машина устроена так, что каждое письмо найдёт своё место.

Управляет этой машиной-гостиницей девушка-оператор.

Вот она сидит за клавишами.

Но здесь на стене тоже большие строгие часы.

Под часами — расписание поездов.

Взглянет девушка на часы, на расписание — и начинает ещё проворнее перебирать пальцами.

От этого письма ещё быстрее устремляются по коридорам, перебегают с этажа на этаж. А вдогонку им — всё новые, всё новые... С разбегу письма запрыгивают в клетки, где уже и без того немалая теснота.

Но вот девушка-оператор встаёт со стула.

Как только она перестала нажимать на клавиши — жизнь в гостинице замерла.

Письмам-постояльцам пора к поездам.

Перед дорогой, как водится, принято посидеть, и письма забираются на стол.

Не будем к ним строги — ведь это не люди, а письма, Пускай посидят на столе.

Столик не простой, он с педалью.

Наступит упаковщица на педаль — и горка писем превращается в тугий пакет, перевязанный крест-накрест верёвочкой. Глазом не уследишь — такая быстрота работы!

Вот на столике горка писем из клетки «Москва».

Её сменяет горка из клетки «Псков».

Следующая — из клетки «Республика Коми».

А вот на столике ещё горка писем — из клетки «Братск». Но минуточку: здесь нет письма портнихи!

Да, пост-пакет в Братск отправляется без её письма.

Но почему же?

Письма отправлены, поезда ушли — и на почтамте наступает небольшая передышка.

Но что за стуки?

Это стучит-постукивает сортировщица-ручница. В руке штемпель, а на столе перед ней рассыпаны письма.

Лицо у сортировщицы сердитое.

Главное — ни в чём не провинилась. Люди небрежничают, а она — исправляй чужие ошибки!

Легко ли день-деньской переворачивать письма да ударять по каждому ручным штемпелем!

Под конец дня рука как деревянная.

Не здесь ли письмо портнихи, написанное в Братск?

Ну, конечно, вот оно.

Ай-яй-яй, ну и письмо. Слова на конверте вкривь и вкось, а марка где? Не сразу и обнаружишь: прилеплена на обратной стороне конверта.

Нельзя отправлять письма впопыхах.

На конверте всё должно быть точно и правильно. И, конечно, разборчиво.

А где наклеивать марку? В верхнем правом углу — и только здесь.

КАК У ПОЧТОВОГО ВАГОНА ВЫРОСЛИ КРЫЛЬЯ

Не знаю, как назвать этот случай...

Кто говорит: «Сказка».

Кто говорит: «Быль».

Но вы, ребята, народ догадливый. Может быть, сами разберётесь?

Алёнка живёт в тайге. На Дальнем Востоке. Отец и мать у Алёнки охотники.

И хотя девочке всего шестой год, она самого дремучего леса не страшится.

— Грибки, — говорит, — давайте в прятки. Прячьтесь от меня.

Но где там! У таёжной девочки глаз острый. Живо разроет мох — и грибы уже в корзинке.

Ни волки, ни медведи не осмеливаются тронуть Алёнку.

Потому что храбрая.

Но случилась беда...

Однажды пришла Алёнка из лесу, да и заболела...

Вся в жару, мечется, никого не узнаёт.

Свезли Алёнку в больницу.

Доктор говорит:

— Скверная болезнь. Укусил её вредный жучок. Скорее посылайте телеграмму в Ленинград. Там есть академик, который придумал лекарство от укуса такого жучка.

Родители Алёнки послали в Ленинград две телеграммы.

Одну — академику.

Другую — Алёнкиной бабушке.

Академик выдал бабушке лекарство. Она сразу — на почту. Сдала посылку, уплатила деньги и пошла домой.



Наступила ночь. Спит бабушка, улыбается во сне. Приснилось ей, что внучка уже выздоровела.

А на самом деле посылка ещё в Ленинграде. По расписанию не было поезда на Дальний Восток.

На станции зажётся огонёк в почтовом вагоне.

Это вагон особенный. Ты уже знаешь, что письма на почте распределяют по клеткам.

И в вагоне клетки. Кроме того, — полка для посылок.

А проводником вагона — почтальон.

Разбирая мешки с письмами, почтальон увидел посылку для Алёнки.

— Эге, — говорит, — посылочка, да ты совсем дальняя! Тебе высаживаться последней. Так что посторонись, не мешайся под руками!

И засунул посылку в конец вагона.

Окончив своё дело, почтальон зевнул, потянулся...

Спит почтальон.

Вдруг шорох в вагоне...

Слабенький-слабенький... Проснись почтальон, он всё равно не расслышал бы этого шороха.

А письма насторожились. Все. Во всех клетках.

— Кто это? — спросил Пакет с Сургучной Печатью. Это был важный Пакет, и говорил он густым голосом.

Шорох прекратился.

Потом кто-то горько заплакал.

— Да что же это такое? — Письма в клетках зашевелились. — Кого здесь обидели? .. Мы, письма, дружный народ. Мы не допустим несправедливости!.. Кто же этот злодей, который обижает слабых? Укажите на него — он будет наказан!

В ответ послышался тоненький-тоненький голосок:

— Ах, товарищи, я Лекарство для Алёнки. Никто меня не обидел... Но как подумаю, что ехать целую неделю... Страшно становится!

Тут вмешалась Поздравительная Открытка — блестящая от лака, расфуфыренная.

— Ничего страшного, — сказала она. — Куда спешить?

Мне, например, нравится опаздывать. Когда почтальон на Новый год или к Первому мая приносит пачку поздравительных писем, — ты там незаметна. А если опоздаешь и явишься одна, — тебе такое внимание! Все тебя разглядывают, с возмущением показывают друг другу штемпель с числом, ругают почту. Это так весело!

Кто-то остановил болтушку, и тогда опять все услышали тоненький голосок:

— Ах, товарищи, Алёнка очень-очень больна. Иначе бы не обратились к нашему академику, поверьте!.. Ей надо сейчас же помочь, этой же ночью, а то, а то... — Тут тоненький голосок захлебнулся в слезах. Промолвил едва слышно: — А то не застать мне Алёнку в живых!

В вагоне стало тихо.

Было только слышно, как храпит почтальон.

Но тишина была недолгой. От волнения все вдруг заговорили, перебивая друг друга, и в шуме голосов ничего нельзя было понять.

Тут Пакет с Сургучной Печатью сказал зычно:

— Тише! Перестаньте кричать! Ти-ши-на!..

Письма в клетках замолчали.

Пакет продолжал:

— Мы так проспори́м всю ночь и ничего не решим... Если у нас собрание, то нужен порядок. Сначала пусть каждый скажет: надо ли спасать Алёнку?

— Надо, надо! — закричали все. — А как же иначе? Спасти девочку, спасти!

Пакет с Сургучной Печатью сказал:

— Я того же мнения! Обязательно спасти! Теперь давайте думать, как это сделать.

— Я знаю как! — выкрикнула Заказная Бандероль.

— Не волнуйтесь, — сказал Пакет, — говорите спокойно. А всех остальных прошу внимательно слушать.

Заказная Бандероль напомнила, что поблизости аэродром. Оттуда улетают самолёты в разные города, наверное — и на Дальний Восток. Так что надо поскорее разбудить почтальона. И пусть он сбегает на аэродром и посылку для Алёнки передаст лётчику.

Пакет с Сургучной Печатью сказал:

— Понятно. Нет ли других предложений?

— Конечно, есть! Дайте мне слово.

Это заговорило Письмо в скромном сером конверте.

— Я всего только Простая Бандероль. Не Заказная! А та хоть и важничает, а сказала глупость. Человеку голос писем не слышен. Поэтому, сколько бы мы ни будили почтальона, он не проснётся и нас не поймёт... Эх ты, а ещё Заказная!

Выступили ещё некоторые ораторы.

Жалели Алёнку, а как помочь девочке, никто не придумал.

Лекарство в бабушкиной посылке уже плакало навзрыд.

— Теперь я беру слово, — сказал Пакет с Сургучной Печатью. — Спасти Алёнку можно!

Все в вагоне затаились: «Что же дальше он скажет, что?!..»

— Можно спасти, — повторил Пакет. — Только дело это очень-очень трудное...

— Подумаешь! — усмехнулась Поздравительная Открытка. — Чего вы нас пугаете? Открывайте свой план.

Пакет сказал:

— План простой. Он называется: «Один — за всех и все — за одного». Согласны взяться дружно?

Из клеток ответили:

— Согласны! Согласны! А вас просим быть командиром!

Пакет с Сургучной Печатью приосанился. Круглое красное лицо его выразило железную волю.

Теперь он заговорил как командир.

— Товарищи Письма! — сказал Пакет. — Закрытые Письма и

Открытки! Простые и Заказные! Товарищи Письма с уведомлением о вручении адресату! Товарищи Бандероли! Слушайте меня: мы сами повезём вагон.

И Пакет приказал:

— Все наружу!

И — смотрите, смотрите! — приказ уже выполняется!

Письма посыпались из окон — одно за другим, одно за другим...

И тут же стали прижиматься друг к дружке: плотноплотно, будто пёрышки в крыле птицы...

Да это и в самом деле крылья! У почтового вагона вырастают два крыла — они становятся всё длиннее, всё гуще...

Последним выбрался из окна Пакет.

Он решил встать к корню правого крыла.

Здесь работа труднее всего — как у загребного на спортивной лодке.

Сзади окликнули:

— Товарищ Пакет с Сургучной Печатью! Я тоже хочу потрудиться для Алёнки!

Это пропищало Лекарство из посылки.

— Нет, — сказал Пакет, — вам не место в крыле. Почём я знаю — может быть, вас взбалтывают только перед употреблением? А вы намашетесь с нами да вдруг прокиснете! Нет уж, пожалуйста, отдыхайте в дороге. Ваше дело — вылечить Алёнку.

Пакет вылез из окна.

Обернулся, глядит — а в одной из опустевших клеток притаилась Поздравительная Открытка.

— Я... я... — забормотала она. — Я слабенькая, меня не троньте...

Пакет рассердился. Сургучное лицо его потемнело.

— Ах так? Всем работать, а вам кататься? Нет, не пройдёт. Марш из вагона!

Поздравительная Открытка выпрыгнула наружу.

Но ни одно из писем, дружно соединившихся в крыльях, не пожелало принять бездельницу.

Гонят её и гонят — перебегает лентяйка с крыла на крыло. Наконец, совсем запыхавшись, остановилась на кончике левого крыла.

— Обещаю работать, дайте местечко!

Тут её и оставили.

— Внимание! — скомандовал Пакет с Сургучной Печатью. — Оба крыла разом — взмах!

Крылья поднялись и со свистом опустились.

Ветер пригнул траву до самой земли.

— Ещё раз — дружнее! Взмах!

Скрипнули колёса — и вагон покатился по рельсам.

— Взмах, взмах, взмах! — выкрикивает Пакет.

Вагон помчался, часто постукивая колёсами...

И вот он в воздухе...

— Теперь набирать высоту! Налегли, дружнее! Чаше взмахи! Ещё чаще!..

Вагон уже над облаками.

Всем от работы жарко, только Поздравительной Открытке холодно.

Бездельничает, вот и окоченела.

Рванул ветер. Бездельница сорвалась с крыла и пропала в бездне клубящихся облаков.

— Поделом ей! — сказал Пакет с Сургучной Печатью. — Кто дружно с товарищами не трудится — тот всегда и везде лишний!

Вагон забирался всё выше и выше. Летел всё быстрее...

А когда взошло солнце, вагон стоял уже на Алёнкиной станции.

Письма опять были в клетках.

Почтальон проснулся и долго в удивлении стоял перед окном.

Прочтёт название станции — и зажмурится, протирает глаза.

«Вот так всхрапнул, ай-яй... — бормотал почтальон. — За неделю ни разу не проснулся! Но молчок, никому ни слова, а то попадёт!»

Почтальон умылся, расправил на себе измятый костюм и с бравым видом принялся выгружать почту из вагона.

...Лекарство поспело к Алёнке вовремя.

Девочка выздоровела.

Недавно Алёнка была в гостях у бабушки, и ей очень понравился Ленинград.



В нашей стране есть почтовые вагоны с крыльями.

Только крылья эти не из писем, а, как у всех самолётов, металлические.

Каждый почтовый самолёт заменяет несколько почтовых вагонов.

Почему?

Очень просто. Пока вагон движется, постукивая колёсами, самолёт успевает сделать несколько рейсов.

БОЛЬШАЯ СУМКА

В Москве почтальоны.

И в Ленинграде почтальоны.

У них давнишняя дружба!

«Мы, — говорят москвичи, — соревнуемся с Ленинградом!»

«Мы, — говорят ленинградцы, — соревнуемся с Москвой!»

А когда социалистическое соревнование, — очень хорошо работается:

весело и с большой пользой.

Ведь каждый старается изо всех сил!

А главное — знаете что? Все друг другу помогают — вот что главное!

Звонят однажды по телефону из Москвы.

Начальник почты в Ленинграде взял трубку.

Слушает, что-то записывает для памяти... Мало ли дел у начальников.

Кивает головой, поддакивает в трубку...

Да вдруг как упрётся о край стола. Даже стул под ним поехал назад.

— Нет, — говорит, — нет и нет! Это мы в Ленинграде изготовим. Уж позвольте вам помочь. Ведь мы же соревнуемся с вами!

Пока начальник почты объяснялся с Москвой, вернулись с порожними сумками три почтальона — три девушки, вострушки-хохотушки.

Забрались в уголок и — «хи-хи-хи» да «ха-ха-ха»!

И вдруг слышат — разговор-то по телефону какой удивительный: Москве сумка понадобилась. Да не простая, как у всех почтальонов. Особенная сумка: на тысячу писем!

Девушки переглянулись.

— Вот так здорово! — говорит одна. — Для такой сумки знаете какие нужны плечи? Богатырские. Как у самого Ильи Муромца!

Другая пошутила:

— А может, Илью Муромца и взяли в почтальоны? Или Гулливера!

— Или Дядю Стёпу-Каланчу! — рассмеялась третья.

В это время разговор с Москвой прервали.

Вострушки — к начальнику:

— Что за сумка? Для чего такая большая?

Начальник почесал затылок.

— Эх-ма, — говорит, — а я и не догадался спросить, зачем московскому почтальону такая сумка... Ну, ничего, узнаем. Главное, девушки, то, что москвичи уступили эту работу нам. И мы сделаем отличную сумку!

— Правильно! — подхватила одна. — Своей сумки не пожалею, а товарищей выручу!

И схватила ножницы.

Начальник — к ней:

— Стойте! Да вы что... Сумки портить?

А та всё своё:

— Распорем и сошьём. Из наших трёх сумок получится одна большая. Как раз на тысячу писем!

Начальник отобрал ножницы.

— Не дурите, — говорит. — Сколько живу на свете, а такого соревнования, чтобы портить вещи, не встречал... Ну, распорете вы свои сумки, а дальше что? И москвичей не выручите и сами останетесь ни с чем... Много зря хохочете, девушки. Оттого и подумать некогда!

Вострушки сказали «до свидания» и разошлись по домам.

А начальник — опять к телефону.

— Извините, — говорит, — нас прервали... Так для чего же всё-таки сумка на тысячу писем?

Из Москвы отвечают:

— У нас тут кругом новые дома. Так вот, к одному из жильцов каждый день приходит тысяча писем...

— Тысяча писем! — ахнул ленинградец. — К одному человеку!

— Притом каждый день, — подтвердил москвич. — Для этого адресата держим отдельного почтальона. И всё равно не управляется. Просит дать большую сумку.

— Да что же это за адресат такой удивительный? Хоть назовите!

И москвич назвал:

— Юрий Алексеевич Гагарин. Первый в мире космонавт. Ему отовсюду поздравления — из всех стран, от всех народов. Так что срочно высылайте большую сумку.

— Ясно, — сказал начальник. — У нас в Ленинграде знаменитый сумочник. Мастер, известный на всю страну! Так что не беспокойтесь...

Оделся, схватил фуражку — и в метро.

Приехал на фабрику кожаных изделий.

Вот и сумочник.

Это старичок с сильными и ловкими, как у молодого, руками. А кончики пальцев тёмные — от многолетней работы с кожей.

Познакомились.

Почтовый начальник заказал большую сумку и говорит:

— Только уж, пожалуйста, сделайте лучше!

Старичок нахмурился. Недоволен такими словами.

— А я, — отвечает, — всё делаю только хорошо. Плохо не умею. Так уж свои руки приучил. С малолетства мои руки понимают красоту работы.

Прошёл день, другой — и сумочник сам приехал на почту.

В руках небольшой пакетик.

А как разорвал бумагу да расправил сумку — заняла она весь стол: большая коричневая сумка на широком ремне.

Девушки-почтальоны, конечно, тут как тут.

Стали примерять новую сумку.

Примерила одна:

— Девчонки, да эта сума-сумища совсем лёгкая. Как пёрышко! Из чего это она? И не кожаная и не брезентовая...

Примерила другая:

— И вправду, какой-то чудо-материал! Наши сумки куда тяжелее.

Примерила третья — и к зеркалу.

— А какая, — говорит, — нарядная. Я бы с такой сумкой сама пошла Гагарину письма носить!

А начальник:

— Ладно, ладно, давайте сюда сумку. И без вас найдутся в Москве почтальоны.

И он стал запаковывать сумку для отправки.

Тут старичок сумочник достал из кармана заранее приготовленное письмо.

— А это, — говорит, — от меня Юрию Алексеевичу поздравление. Хочу, чтобы доставили ему моё письмо в этой новой сумке.

Юрий Алексеевич Гагарин погиб. Но мы никогда его не забудем. О нём слагаются стихи, легенды, песни.

А почтальоны рассказали мне эту быль про Большую Сумку.

ДВА ПОЧТАЛЬОНА

Вот почта. Зайдём на минутку.

Пока я буду сдавать телеграмму, — осмотрись: всё ли тебе здесь знакомо?

Стеклянный заборчик перегородивает комнату. В нём окошки. Над окошками надписи.

Вот здесь можно купить конверт, марку или открытку.

А здесь примут посылку.

Вон к тому окошку подходят старые люди, получают пенсии.

Есть окошко, где можно подписаться на газеты, журналы.

Есть окошко с надписью: СБЕРКАССА...

Что ещё на почте?

Обрати внимание на высокий узкий домик. В нём темно. Но, едва ступишь на порог домика — внутри приветливо зажжётся огонёк.

Огонёк приглашает снять с аппарата телефонную трубку.

Из домика можно переговорить с любым городом.

Можно и с заграницей. Если, конечно, у тебя есть друг в дальних странах.

Не обзавёлся ещё таким другом? Дай срок, появится и далёкий друг. Непременно. В жизни у тебя будет много- много друзей.

А пока присядем. На почте можно и отдохнуть.

Вот свободные стулья. Погляди, как уютно. Вокруг нас с тобой цветы...

Но всегда ли здесь было так уютно и красиво?

Представь себе, что цветы завяли.

Побитые морозом, они, как грязные тряпки, повисли на горшках.

Окна стали для людей опасными. Пришлось их заложить кирпичами и мешками с песком.

Электричества в городе не стало.

Но не сидеть же в темноте!

Одну из чернильниц наполнили керосином. Выпустили наружу фитилёк, зажгли. Капелька огня, а всё ж таки видно, что руки делают!

Приветливого домика не стало. Его разрубили топором на щепки.

Дров нет, а надо согреться. Иначе не поработаешь...

Это было во время блокады Ленинграда.

На Советский Союз напали немецкие фашисты, и Ленинград стал фронтовым городом...

Почтальон Петрова наполнила сумку письмами.

Она спешила в госпиталь.

В госпитале, куда Петрова доставляет почту, умирал раненый солдат. Лекарства не помогали...

«И не помогут! — сказали доктора. — Если не будет письма от товарища, с которым этот солдат был в бою!»

Весь госпиталь знал подробности геройского боя. Два солдата отбивались в окопе от фашистов. За Родину стояли насмерть...

Один солдат очнулся только в госпитале.

А другой?

Другой пропал.

И теперь раненый в бреду и наяву требовал:

«Узнайте, где Ахмедов. Он мне жизнь спас! А сам... Ох, замучают фашисты Ахмедова, если в плен попал!»

Едва Петрова заходила с сумкой в госпиталь, как её окружали раненые, которые уже могли передвигаться.

Петрова уже раздала письма, газеты. Но раненые не расходились.

— Тётя Глаша, а Кулешу?.. Опять нет ничего?

— Ребятушки! — говорила Петрова. — Не разрывайте вы моё сердце на части. Сама понимаю беду...

И вдруг — весточка. Долгожданная! Сегодня в сумке у Петровой письмо.

Кулешу — от Ахмедова.

Заторопилась тётя Глаша в госпиталь — а тут воздушная тревога. Застучали зенитки. В небе за клубились дымки разрывов.

Сунься-ка на улицу, схватят — и в бомбоубежище. Да ещё накажут за нарушение правил.

Почтальоны, томясь, сидели с наполненными сумками.

Наконец в репродукторе щёлкнуло, и зычный голос объявил:

«Отбой воздушной тревоги! Отбой...»

Петрова первой бросилась к выходу, но пошатнулась и села на табурет.

Подружки-почтальоны — к ней.

А Глаша:

— Не пугайтесь, девушки, я здорова. Идите. Отдохну — и за вами.

Каждая, уходя, сняла с полки пакетик — свой дневной паёк хлеба.

Ломтик — два раза откусить. Это был для ленинградцев и завтрак, и обед, и ужин.

Но тётя Глаша и этого не съедала. Тайком от подруг клала полломтика в другой пакет. Очень уж одна из девушек-почтальонов страдала от голода. Даже плакала.

Глаша считала себя крепкой, выносливой. Но, как видно, чересчур понадеялась на свои силы. Теперь и с табуретки не встать.

«Ничего, ничего, — подбадривала она себя. — Хлебушка поем да кипяточком запью. Ножки и побегут».

Вдруг будто гром ударил в комнате. Пол так трянуло, что Глаша упала с табуретки. В ту же минуту сделалось ослепительно светло.

Глядит — а стена отделилась от потолка и разваливается на части.

«Снаряд! — подумала Глаша. — Фашистская артиллерия ударила!»

Каким-то чудом уцелела полка. На ней по-прежнему белел пакетик.

Глаша, охая от ушибов, медленно поползла к полке. Взять хлеб.

И только теперь заметила, что в противоположном конце комнаты начался пожар.

Ахнула тётя Глаша...

Горела её сумка с письмами. Это расплескался и вспыхнул керосин из коптилки.

Глаша повернула назад.

Стащила со стола сумку, а она уже вся в языках пламени.

Глаша навалилась на этот костёр, стала тушить огонь.

Обнимая сумку, выскочила на улицу.

Здесь, в сугробе снега, дотушила пламя.

И сразу вспомнила про хлеб.

Но ни полки уже, ни пакетика. Всё завалено битым кирпичом...

Почтальон Петрова, с ожогами на лице и руках, в обгоревшем ватнике, вышла на работу.

«Нет, не разнести писем!» Она прислонилась к забору. Сумка выпала из её рук.

Мимо, гудя и завывая, промчались пожарные машины.

Тётя Глаша даже руку не подняла, не попросила помощи.

«Пожарные не имеют права останавливаться. Где-то там горит или, быть может, надо спасти людей».

Из-за угла показался грузовик.

Глаша приободрилась.

— Стойте, товарищи, стойте! — Она размахивала письмом с обгоревшими уголками. — Мне бы только до госпиталя!

Грузовик был полон солдат, и командир, повернувшись к Глаше, постучал пальцем по своим часам: мол, некогда!

Глаша поняла, что солдаты спешат в бой.

Машина у них была пятнистая. Такие машины — невидимки для врага.

А время шло...

Глаша с замиранием сердца подумала:

«Где взять силушки, как же доставить письмо?.. Ах, Кулеш, ведь вот оно, твоё спасение! Только успеет ли к тебе?»

По улице брели двое — старик и девочка. Впрягшись, тянули санки.

На санках чайник с водой — всего только и груза, но старик и девочка трудились вдвоём.

Остановились передохнуть.

«А ведь ей годочков семь-восемь! — Глаша улыбнулась девочке. — Да и глазёнки смекалистые... — И тут же с волнением подумала: — Такая может выручить».

— Девочка, хочешь быть почтальоном?

Ребёнок деловито сморщил брови:

— Это как? По-правдашному?

Тётя Глаша кивнула:

— По-правдашному. Вот письмо. Надо снести в госпиталь раненому. Ребёнок подержал письмо.

— Знаю, где госпиталь. — И вдруг лукаво прищурился: — А я и не девочка вовсе! — Он высвободил из тёплого платка лицо: — Смотрите, я мальчик. Я Ванюша!

Старик рассердился на тётю Глашу. Заворчал: мол, это безобразие — среди улицы хватать чужих детей и превращать их в почтальонов!

А мальчик — к деду:

— Нет, отпусти! Нет, отпусти!

Родители у мальчика, оказывается, были на фронте. А дед от себя внука — ни на шаг.

Мальчик уже в слезах.

— Папа отпустил бы. И мама отпустила бы!

Видит Глаша — упрямого старика не переспорить. Делать нечего — хоть каждая минута дорога, пришлось потерять время, рассказать про Кулеша и Ахмедова. Старик встревожился. Забормотал в бороду:

— Ах ты, беда какая... Вот беда... — Да как напустится на внука: — Ну, чего рот разинул! Слышишь — солдат-герой может помереть. Бери письмо, беги!

Глаша вмешалась:

— Бежать, мальчик, не надо. Силёнок не хватит добежать. Иди спокойно, ровненько... И письмо в руки не дам. А вот так...

Она засунула письмо мальчику под пальто, на грудь. Снова укутала его тёплым платком. Спереди крест-накрест, концы платка под мышки — и завязала на спине узлом.

Поцеловала мальчика:

— Ну, ступай, Ванюша, почтальон мой!



Старик спросил у женщины полное имя-отчество, сел на краешек санок и показал свободное место по другую сторону чайника.

— Отдохнём, Глафира Ивановна. Вы, кажется, совсем больны. На вас лица нет.

Тётя Глаша села и сразу забылась.

Очнулась она от шума подъехавшей машины и громких голосов.

Глядит — в кабине, рядом с шофёром — Ванюшка. Да какой важный, даже с места вставать не хочет!

А выскочивший из машины санитар в белом халате уже засуетился возле Глаши.

Он освободил её от тяжелой почтовой сумки, бережно взял под руку и стал усаживать в машину.

— Ай-яй, — говорит, — тётя Глаша, уж не болеть ли вздумали? Нет, нельзя почтальону болеть. Кто же тогда солдату весточку принесёт?

Глаша через силу улыбнулась.

— А как Кулеш? — спросила она.

— Ожил. От письма совсем ожил! Всех в гости требует! Садись и ты, дедушка, подвезём. В чайник тебе кипяточку нальём!

И санитарная машина, вздымая снежную пыль, помчалась к

госпиталю.



КАТЯ ГЛАЗКОВА

Стоит Дуня у станка. Работает, а слёзы кап да кап.

Подошли подружки:

— Что с тобой, Дуняша? Станок разладился?

— Нет, — отвечает, — станком довольна. Прядёт, ниточку не порвёт.

— Может, с непривычки руки болят?

— Нет, — отвечает, — размялись руки. Уже план перевыполняю.

— Дунька, так тебе петь да радоваться! А у тебя глаза красные.

Признавайся, почему плачешь?

А был большой праздник. Страна отмечала День Победы. Всюду флаги, цветы, счастливые лица людей.

Тут и всплакнула Дуня над своим одиночеством.

Призналась подружкам, что одна она на всём свете.

— Папа, — говорит, — и мама погибли, защищая от фашистов Ленинград. А меня с маленьким братом разлучили...

Подружки в один голос:

— Как так разлучили? Кто посмел обидеть сирот?

А дело было вот как. Пришёл в Ленинград приказ — всех ребятишек вывезти в тыл.

Дуняша помнит себя в вагоне поезда.

Вдруг грохот, всё опрокинулось, полетело кувырком...

Кричат:

«Воздушный налёт! В паровоз попала фашистская бомба!»

Перепуганную девочку увели с места крушения за руку.

А Серёжа, хотя он и постарше сестрёнки, идти не смог. Его унесли раненого.

Подружки посовещались и говорят:

— Напиши брату. Сегодня же. Где он живёт?

— Нет у меня брата...

А подружки:

— Откуда ты знаешь? Может, его спасли. Срочно напиши в Ленинград!

Дуня как разревётся:

— Оставьте меня, оставьте! Я самая несчастная на свете. Даже не помню, какая у нашей семьи фамилия...

Подружки — в изумлении:

— Забыла свою фамилию?... Да уж не больна ли ты? Ну, повторяй за нами: «Смородина, моя фамилия — Смородина...»

Дуня печально усмехнулась:

— Вы, девушки, меня не поняли. Да, я Смородина. Только фамилия-то моя придумана.

И Дуня рассказала, что после крушения поезда её, совсем крошечную девочку, привезли на Урал и поместили в детский дом.

А при детдоме был ягодный сад. И однажды Дуня, спрятавшись под кустом, объелась смородины...

Всю ночь корчилась от боли. Всю ночь ставили ей грелки на живот.

После этого ребятишки давай дразниться:

«Дуня Смородина! Обьедалка! Кислая смородина!»

А заведующая детдомом подошла и говорит:

— Ну вот, девочка, ты себе под кустом и фамилию нашла. Так и запишем в документы: Евдокия Смородина.

Выслушали подружки Дунин рассказ, покачали головами.

— Значит, брат у тебя не Смородин. Ясно. Серёжа с неизвестной фамилией... Плохо, милочка, твоё дело! Не найти тебе брата.

Дуня сердито отвернулась.

— Уходите, — говорит, — оставьте меня!

Опять стоит у станка, работает. Тонкую нитку прядёт.

А слёзы кап да кап...

Когда прогудел на фабрике гудок и окончилась работа, девушки уединились в Красном уголке.

Сочинили письмо. А на конверте написали:

ГОРОД ЛЕНИНГРАД.

Самому лучшему ленинградскому почтальону.

И обратный адрес.

— Катя Глазкова! — позвал в Ленинграде начальник почты. — Вот получено для тебя письмо. С Урала.

Катя удивилась. На Урале у неё ни родных, ни знакомых.

А начальник:

— Всё равно, — говорит, — это письмо тебе. Ты у нас на Доске почёта, ты лучший в Ленинграде почтальон.

Катя распечатала письмо, прочитала и рассмеялась:

— Вот чудачки! «Разыщи нам Серёжу», — а фамилии не говорят. Я же не фокусник!

Сунула письмо в карман. И только вечером, после работы, о нём вспомнила.

Поужинала, отдохнула — и села письмо перечитывать.

Теперь Катя уже не смеялась. Очень ей захотелось помочь Дуняше. Но Ленинград — город огромный. Несколько миллионов жителей. И Серёж здесь видимо-невидимо.

Задумалась Катя.

«Который же из них?.. Даже отчества нет. Неужели не знают?» И она дала телеграмму на Урал.

В ответ пришло новое письмо.

Опять от Дуниных подружек.

Это было весёлое письмо. Девушки на фабрике, видать, боевые!

«Наша Дуня, — писали они, — Евдокия Максимовна. А брат, по её словам, — Сергей Максимович. Но как верить на слово девчонке, которая ухитрилась забыть родную фамилию? «Докажи, — говорим, — что ты с

братом Максимовичи».

Дальше в письме говорилось, что Дуня повела всех к себе в общежитие и показала обгоревшую тряпочку.

Это была метка, когда-то пришитая к платьицу ребёнка. С этой меткой Дуню вывезли из Ленинграда. А тут крушение, пожар...

Была полная надпись карандашом: имя, отчество, фамилия ребёнка. А уцелело только: «Евдокия Максимовна».

Но девушки на фабрике дотошные!

Разглядывая тряпочку, они вдруг обнаружили букву «Б».

— Дунька, — закричали подружки, — где же были твои глаза! Твоя фамилия с буквы «Б» начинается!

— Знаю, видела, — сказала Дуня. — Но одна буква — это ещё не фамилия. Назвали меня Смородиной — Смородиной и останусь.

Подружки согласились, что фамилию теперь менять нечего.

А про букву «Б» сообщили в Ленинград.

— Почтальон Глазкова! — сказал начальник почты. — Ну, как, надеешься разыскать этого загадочного Серёжу?

— Сейчас скажу. — И Катя быстро прочитала письмо.

«Отчество Серёжи — Максимович... Фамилия начинается с буквы «Б»...»

Катя так обрадовалась приметам, что тут же пообещала начальнику:

— Разыщу его. Честное комсомольское!

Погорячилась девушка. Пришлось ей пожалеть о своём необдуманном обещании.

Но пока что Катя ликовала:

«Ай да уральские девчонки! Вот молодцы! Откопали начало Серёжиной фамилии. ..А с фамилией можно и в адресный стол!»

Но заявку у Кати не приняли. Из окошка сказали:

— Товарищ Глазкова, вы опытный почтальон и знаете наши порядки. Надо написать полную фамилию.

Конечно, Катя знала порядки. Но к букве «Б» ничего прибавить не могла.

Всё это Катя рассказала у окошка.

Сотрудница адресного стола в раздумье молчала.

— Да ведь мы же ленинградцы! — сказала Катя. — Сами пострадались. Кому же, как не нам, понять сироту!

Сотрудница не спорила. Только сказала:

— А знаете, сколько у нас карточек на букву «Б»? Их и за год не

перебрать.

Прошло несколько дней.

Звонок по телефону: «Почтальона Глазкову — в адресный стол!»

У окошка Катю встретили все сотрудницы. Улыбаются.

— Ты, Катя, не подумай о нас худого. Решили перебрать карточки — знаешь когда? В обеденный перерыв... Вот получай для начала!

Какая радость — у Кати в руках три адресных листка! «Сергей Максимович... Сергей Максимович... Сергей Максимович...» — и все фамилии на «Б».

Катя в этот день чуть ли не бегом разносила почту.

А когда работу кончила, даже домой не зашла. Даже не поужинала. Так не терпелось пуститься на поиски Сергея.

Приехала по первому адресу. Здесь проживает Бабкин.

«Он или не он?..»

Катя глядит на кнопку звонка, не решаясь к ней прикоснуться.

Наконец собралась с духом и позвонила.

В квартире зашаркали туфлями.

В переднюю вышел мужчина.

— Спрашиваете Сергей Максимовича? Это я, к вашим услугам!

Катя смутилась, пробормотала извинения — и за дверь. «Какой же это брат Дуняше — он ей в дедушки годится!»



Метро доставило Катю на другой конец города.
Новенький дом. На лестнице ещё пахнет краской.

Ступени — как белые пастилки. Такие чистые, что боязно ногой наступить.

Позвонила.

Спросила Сергея Максимовича Бибикова.

В переднюю влетел мальчик, расставил ноги и прицелился в Катю из деревянного ружья:

— Вы в плену. Ни с места!

У пленницы нашлась в кармане карамелька, и она сумела откупиться.

И, выйдя на площадку, с огорчением подумала: «Что это с адресным столом? Стариков дают, малышей... Неужели трудно догадаться, что Сергей Б. сейчас взрослый молодой человек?»

Нет, ничего не получается у сотрудниц адресного стола. Урывками, в обеденный перерыв — это не работа!

Всё же Катя пошла по третьему адресу. И опять не то.

Пришла домой... На столе свежее письмо. Опять с Урала.

Распечатала.

Глядит — от Евдокии Смородиной. В первый раз Дуня написала сама.
«Эх, Дуня, Дуня, горе ты моё...» — повздыхала Катя и села читать письмо.

Знакомый уже рассказ о поезде, фашистской бомбе, крушении...

«Братец очень кричал, — писала Дуня. — Рука вся в крови и даже стала не похожей на руку...»

Глазкова перечитала это место.

Изувеченная рука... Важная примета!

Но тут же вспомнила, что адресный стол не учитывает здоровья жителей.

Легла на диван, закрыла голову подушкой... Очень тяжело было у Кати на душе.

Вдруг она встала.

— А зачем, — говорит, — мне адресный стол? Ну-ка, письмецо, полезай в карман!..

На окраине Ленинграда, среди зелёных роц, есть домик с колоннами. Там дружно и шумно живёт детвора.

Катя Глазкова любит бывать в этом домике. Нравится ей комсомольское поручение — час-другой свободного времени посвящать детям, сиротам войны. Не отказывается Катя и воспитателям помочь в их трудном деле.

Сюда Катя и примчалась за советом.

Вошла — и прямо в кабинет к заведующей.

— Мария, — говорит, — Павловна, разыскиваю я адресата, зовут Сергей Максимович, фамилия на букву «Б». Есть примета: во время войны, мальчиком, был ранен в руку... Вспомните, пожалуйста: не жил ли такой у вас?

Заведующая помолчала, раздумывая.

Потом положила на стол большую толстую книгу и принялась медленно её перелистывать. Она водила пальцем по столбикам фамилий бывших воспитанников.

Толстая книга прочитана. Не нашлось в ней Серёжи, раненного в руку. Но Катя не отступала.

— Если не у вас, — сказала она, — так, быть может, в других детских домах?

Заведующая села к телефону.

Когда уставала звонить, её сменяла Катя.

Наконец из трубки ответили:

— Да, был такой мальчик. Серёжа Буянов, Сергей Максимович.

Только он давно уже вырос!

На другой день Глазкова отправилась в детдом, где когда-то жил Буянов.

Ей рассказали, что это был удивительный мальчик.

Писал левой рукой — правая не действовала.

Но Серёжа твердил:

— Всё равно не поддамся! Фашисты думают, что прикончили всех Буяновых. А я не поддамся. Не увидят меня калекой!

И не поддался.

Он раздобыл тугий чёрный мячик. Положит его в ямку на правую ладонь и заставляет негнущиеся пальцы этот мячик сжимать. Вскрикнует от боли, даже побледнеет... А потом отдышится — и опять за своё.

Год возился с мячиком, даже больше. И добился-таки своего: ожили пальцы.

А доктора помогли окончательно вылечить руку.

...Слушала Катя, слушала — и вдруг спохватилась:

«Скорее в адресный! Фамилия известна — теперь мигом выдадут справку!»

И вот Катя в квартире у Сергея Максимовича Буянова.

— Ах, ах, — всплеснула руками соседка-старушка, — доктор Буянов только что выехал! Минут бы на десять пораньше — и застали бы.

Катя опешила:

— Куда же он?

— Куда, куда, — проворчала старушка. — Сдурел парень. Он уже почти главный врач в больнице, вот какой умница... И вдруг бросил всё — на село его потянуло. «Там, — говорит, — я нужнее, чем в городе». Сегодня же и укатит. Через полчаса поезд.

Катя больше не слушала.

Выбежала на улицу. В такси — и на вокзал.

Смешавшись с толпой пассажиров, она вдруг поняла, что сделала глупость. Который здесь Буянов? В лицо ведь не знает! Старушку надо было прихватить. Эх, не догадалась!

А возвращаться за старушкой — упустишь поезд.

Как же быть?

В это время заговорило радио:

«Продолжается посадка на поезд дальнего следования номер...»

— Вот что поможет! — И Катя бегом к начальнику вокзала.

Через минуту радио прогремело:

«Внимание, внимание! Обращаемся к пассажиру доктору Буянову.

Сергей Максимович! У вас большая радость. Зайдите к начальнику вокзала».

И вот они стоят друг перед другом: маленькая девушка-почтальон и рослый молодой человек, одетый по-дорожному.

— Жива? Дуняшка жива? — кричит Буянов и хохочет от счастья. — Нет, вы повторите, в самом деле жива?

Катя повторяет:

— Жива, жива. Неужели я говорю неясно? Жива, здорова. Работает на Урале текстильщицей. План перевыполняет... Ну, чего ещё вам? Вот её адрес. А мне надо идти.

— Нет, стойте! — опять кричит Буянов. — А какая она? Ростом как вы или как я? А волосы какие? А глаза?

Катя зажимает уши.

— Откуда я знаю? Вы меня совсем оглушили! Не видела я вашей Евдокии.

Начальник вокзала догадался, пришёл Кате на выручку:

— Товарищ Буянов, вам пора. Поезд отправляется.

Стали прощаться.

— Ой, какая у вас сильная рука! — вскричала Катя, приседая от боли.

Буянов смутился:

— Простите, я не рассчитал... Это рука хирурга.

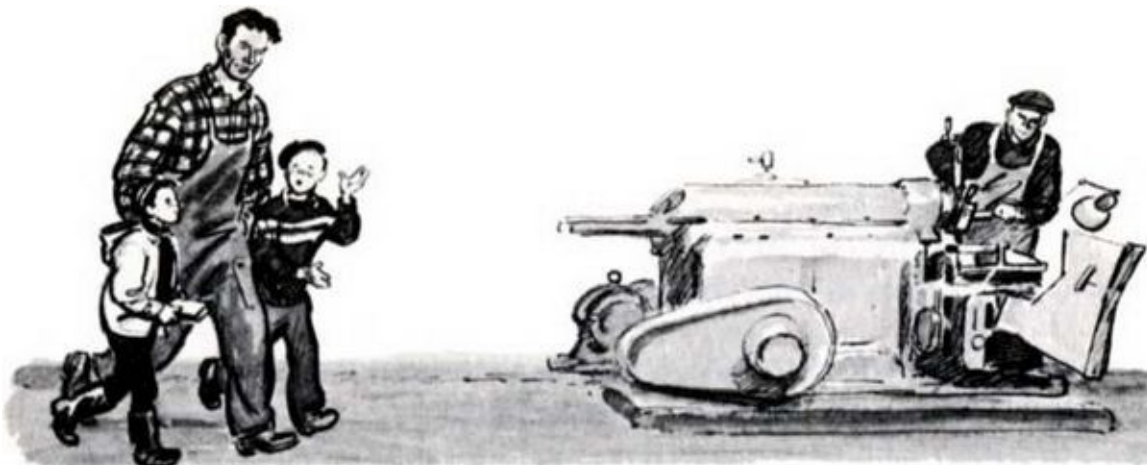
Вышли на перрон. Поезд тронулся.

— Счастливо! — Катя помахала вслед. — Брату и сестре приятного свидания!

А сама поправила на боку сумку и возвратилась на работу.



ДЯДЯ РУСАКОВ И МАЛЬЧИКИ



САША МЕЧТАЕТ О КНОПКАХ

Я теперь уже дедушка. Слушатели мои — внук Алёша и его приятель Саша. Один первоклассник, другой второклассник уже.

Алёша темноволосый. Саша светленький.

За играми — то вместе, то врозь по углам. То дружат, то подерутся.

Но стоит мне начать про войну — сразу между ними мир и согласие. Сядут в обнимку, дыхание затаят, слушают.

Вот и сегодня у нас вечер рассказов. А пока читаю газету. Жду, когда Алёша приготовит уроки.

— Кончил! — говорит он наконец и подаёт мне тетрадки.

Проверяю. Всё правильно.

Ждём Сашу. Он в нашем же доме, только выше этажом.

Но вот и сам Саша. Влетает вихрем:

— Нн-нне... опоздал? — От волнения даже заикается.

Я откладываю газету. Можно начинать.

Однако не так-то просто усадить Сашу.

У него новость.

— Слыхали, какая появилась машина?.. Арифметику делает. Только сунь в неё тетрадку, нажал кнопку — и готово. В полсекунды задачу

решает. Хоть самую трудную. А надбавь ещё несколько полсекундок — за всех школьников решит. Даже за весь город может... Вот здорово, а? Эх, мне бы такую машину. На день рождения — вместо всяких там подарков!

Саша не забывает и друга.

— Я и за тебя, — говорит, — кнопку нажму. Обязательно.

Но Алёша в арифметике силен. Вот если бы от уроков труда избавиться — другое дело. Задают клеить коробки — а у него пальцы склеиваются. Будто в перепонках, как у гуся.

— Деда, — говорит Алёша, называя меня на свой лад. И заглядывает в глаза: — Скажи, а ты подарил бы мне машину?

— Это чтобы клеила коробки? А тебе только кнопку нажимать?

— Ага! Щёлк — и класс завален коробками до потолка! А ещё...

У Алёши, вижу, глаза разгораются. Ему уже мало коробок: все задания по труду готов свалить на машину!

— Эх, — говорю, — мальчики, мальчики... Да ведь от таких ваших машин не польза, а вред! В самом деле. Представьте, что вдруг бы появились машины, которые всё делают за человека...

Алёша и Саша переглянулись:

— А чем плохо? Это даже очень хорошо!

— Согласен, — говорю, — хорошо! Но надолго ли?.. Вот идёт поезд. Вдруг что-то испортилось. Машинист тычет в кнопку, тычет — а поезд ни с места. Что испортилось, машинист не знает: ведь его учили только кнопки нажимать. Значит, слезайте, пассажиры, в чистом поле, тащитесь с чемоданами пешком.

Ещё пример. Мельница. Зерно мелют машины — мельнику только кнопку нажать. Бац — в машинах поломка. И целый город остаётся без хлеба.

Кто же вновь пустит мельницу? Да никто. Ведь люди умеют всего лишь нажимать кнопки.

Так, одна за другой, изнашивались бы, поломались все машины на свете. Выпали бы кнопки из гнезд — значит, и нажимать уже не на что!..

И остались бы люди без хлеба, без одежды, без домов, без поездов...

Слушатели мои притихли. Молчат, озадаченные.

— Есть, — говорю, — о чём подумать, не правда ли?

— Мы подумаем, — согласились оба. — А про войну будет?

— Конечно! Я же обещал.

И рассказал я ребятам вот такую историю...

СЛУЧАЙ В БОЮ

«Идёт война народная, священная война!»

Это не только в песне пелось. Фашистская Германия обрушилась на нас всей силой своего оружия. Мы выдержали удар, а затем и разгромили врага, потому что отпор врагу был всенародным.

Дни и ночи не остывали печи на заводах Сибири и Урала. Там строили самолёты, танки, изготавливали пушки, миномёты. Всё это тотчас же вступало в бой.

Отлично был вооружён и сам солдат: в руках автомат, пояс обвешан гранатами, в ножнах кинжал. Грозен советский солдат в атаке!

С этого я начал рассказ.

— Но знавал я, — говорю, — одного сержанта, который воевал безоружный.

— Ага, понятно, — сказал Саша. — Это был силач, как Власов или Василий Алексеев!

— Нет, — говорю, — вовсе не силач. Ростом, правда, высок, темноволосый, как вот ты, Алёша. Ну, разумеется, здоров, вынослив — иначе какой же это солдат. Однако гирь и штанг не поднимал.

— А я уже догадался! — сказал Алёша. — Это был пластун. Прижмётся к земле — и ползком, ползком незаметно. А потом как вскочит — бах, бах, бах! — и закидает фашистов гранатами!

— Нет, — говорю, — не брался сержант за гранаты.

Саша:

— А что же у него было?

— Только руки, — говорю. — Но руки умелые. Трудолюбивые... А в бою не обойтись без умельца. Хотите, расскажу, как он сам вышел из беды и полк свой выручил?

Ребята уже сидят рядышком. Приготовились слушать.

Только спросили:

— А как его звали, сержанта?

— Русаков, — говорю, — Николай Николаевич Русаков.

Итак...

Когда началась война, Русаков был красноармейцем. Однако срок свой уже отслужил, выполнил почётный долг перед Родиной. Теперь только бы домой, в Ленинград. Мечтал о родном заводе.

Но — началась война...

В первых же боях с немецкими фашистами Русаков отличился. Стал сержантом.

Понадобился в полку радист — Русаков стал радистом: руки-то умелые, да и голова на плечах!

Бережёт Русаков свою рацию. Обзавёлся мягкой тряпочкой — чтоб ни пылинки на аппарате. Когда рацию включает, садится в землянке так, чтобы заслонить собою аппарат. В землянке тесно, ходят, толкают Русакова в спину, но это ему нипочём, был бы аппарат в безопасности.

А когда полк получает приказ «Вперёд!», Русаков погружает аппарат в пароконную тележку, да так бережно, как мать кладёт дитя в люльку.

Бережёт Русаков свою рацию. Зато и действует она безотказно.

Но берёт, да не уберёт! И стряслась беда...

Но надо рассказать по порядку.



Однажды после боя командир полка разрешил бойцам отдохнуть.

Увидел Русаков стог сена. Обрадовался.

— Ишь как нам повезло! Там и заночуем, — сказал он своим товарищам.

Придвинули к стогу тележку с рацией. Дали волю лошадям, чтобы покормились свежим сеном. А сами под стог — как в тёплую нору.

Проснулись от грохота. Мигом выскочили из-под стога. Что случилось? Ночь, темно, ничего не понять...

Но тут ударило в нос едкой гарью.

— Да это авиабомба разорвалась! — сказал Русаков. — Как только в стог не угодила!

Прислушались: так и есть, в ночном небе — шум удаляющегося фашистского самолёта.

Тронулись в путь.

Пофыркивают лошади, дружно тянут тележку.

В тележке — трое: Русаков, его помощник, тоже радист (дежурить-то приходилось круглые сутки, вот и сменяют друг друга у аппарата); третий солдат на облучке — правит лошадьми. И ещё рация в тележке. На ночь укрыта брезентом: это её одеяло.

— Однако пора уже и рации проснуться! — шутит Русаков.

Откинул в сторону брезент, нащупал в темноте телеграфный ключ. Выстукивает:

«С добрым утром, товарищи! Приступаю к работе...»

И вдруг — что такое: не получают точки-тире. Впустую стучит ключом...

Рация не действует.

Страшно подумать: вот-вот завяжется бой, а полк без радиосвязи!

Русаков тормозит помощника:

— Пробуй ты. У меня что-то руки дрожат...

Тот за ключ. Но рация по-прежнему молчит.

— Да что же с тобой случилось, молчальница! Наконец понял Русаков: от авиабомбы это. Тряхнуло рацию взрывом.

— Чинить, скорее чинить!

Впопыхах чуть не включил ручной фонарик. Как раз на вспышку света посыпались бы бомбы.

Русаков накрылся с головой брезентом.

Втащил туда же, под брезент, помощника.

— Держи! — сунул ему фонарик. — Посвети!

А сам осторожно открыл рацию.

Перед глазами — пучки и переплетения тонких проволочек. В этой паутине тут и там поблёскивают винтики... А повреждения не видать.

Снаружи голос:

— Радист!

— Кто там ещё? — сердито отозвался Русаков. — Не мешайте!

Выглянул из-под брезента — видит: конный из штаба. С пакетом.

— Велено передать по радио. Срочно! — сказал конный, завернул лошадь и ускакал.



Вскрыл Русаков пакет, а в нём приказ батальонам и ротам. Полк вступает в бой.

И понял в эту грозную минуту радист: за успех полка в бою и за жизнь товарищей — он, только он в ответе!

Но как же чинить рацию, если не видать повреждения?

И Русаков доверяется своим рукам. Шепчет: «Ведь вам привычно в аппарате — чистоту наводили, значит — не заблудитесь. Так выручайте же, выручайте!»

И побежали пальцы по проводничкам — будто канатоходцы по своим канатам. С проволочки на проволочку, с проволочки на проволочку — всё стремительнее, всё быстрее...

Стоп! Провалился палец.

— Пф-фу-у... — с облегчением вздыхает Русаков. — Вот он, обрыв!

И — за щипчики.

Подцепил и выводит наружу обломившийся кончик провода.

А сам уже смеётся и шутит:

— Шалишь, приятель, будешь работать!

И вот уже телеграфный ключ приятно пружинит под рукой. Ожила рация.

— Я Сокол, я Сокол... — выстукивает Русаков. — Передаю боевой приказ командира полка...

На этом я закончил рассказ.

Молчат мальчики. Лица сосредоточенные, лбы нахмуренные... Задумались.

— А страшно было там, — заговорил Саша. — Чинит он, чинит, а бой идёт... а связь не получается... Так и побить нас могли! Сколько же полк воевал без рации?

— Знаю, — говорю, — Саша, одно: всё произошло быстрее, чем я успел рассказать. Батальоны и роты приказ получили.

Только командир полка и заметил, что радиосигналы побежали в эфир несколько позже, чем следовало.

Заметил, потому что, надев наушники, глядел на часы. Да и подумал мельком: «Спешат, как видно, мои. Или у радиста чуть отстали. Надо будет нам сверить часы для точности».

После боя стало известно, что случилось с рацией и как она была починена.

Командир полка вызвал сержанта Русакова и долго в изумлении глядел на него.

— Это невероятно... — заговорил он наконец. — Ночью, в тряской тележке... скорчившись под брезентом... Сложнейшее электрическое устройство — и вы наугад... Да какие же у вас умные пальцы, сержант! Руки золотые!

Командир полка привлек к себе Русакова, и они обнялись.

А вскоре на груди радиста красовался орден Красной Звезды.

Мальчики повеселели.

— Вот это да!.. Ну и здорово!.. Ему и оружия не надо... Ну да, только бы мешало оружие!

Потом Алёша сказал:

— Вот бы поглядеть на эти руки...

И Саша вслед за ним:

— Вот бы...

Я взял отложенную газету.

— Кажется, — говорю, — вам повезло, мальчики... До сих пор я не знал, жив ли сержант Русаков, чем для него кончилась война... Но вот...

Я развернул газету:

— «...Последние известия. Москва. Кремль. Состоялась сессия Верховного Совета СССР. Приняты важные государственные законы, и депутаты разъехались по своим родным городам и сёлам.

Возвратились с сессии и ленинградцы. Среди них...»

Слушайте, ребята: «...депутат Верховного Совета, Герой Социалистического Труда Николай Николаевич Русаков».

Алёша:

— Депутат — это значит государством управляет? Ведь у Верховного Совета, ты говорил, вся власть в стране?

— Запомнил? Молодец... А ты, Саша, вижу, чем-то недоволен? Почему отвернулся?

Мальчик — со вздохом:

— А тогда и ходить к Русакову нечего. Вон он какой важный стал.

Алёша рассмеялся:

— Эх ты, даже Конституции не знаешь. А ещё второклассник!

— А ты, — говорю, — Алёша, не потешайся над товарищем. Знаешь, так объясни.

— Конечно, знаю. Депутат у нас — избранник народа. Поэтому к нему может каждый-каждый прийти, и он должен о каждом позаботиться. Вот как! А не то что...

Саша подумал и сказал:

— Всё равно уже не те руки у Русакова. При такой должности изнежились. Нечего и глядеть.

Тут Алёша — вот выюн! — под мышку мне — и к газете. Уткнулся в напечатанное и дочитал раньше меня:

— «...Депутат Русаков, рабочий завода «Электросила». — Таким же винтом — обратно: — Русаков — рабочий! С «Электросилы». Ударник коммунистического труда!.. Понял?

Кончилось тем, что оба запросились на завод.

— Деда, это можно? Пожалуйста!

ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ

Дверь. За дверью — аквариум.

А какие рыбки нарядные!

— Смотрите, смотрите, у этой хвост как из кружева!

А сама с брюшка розовая, а со спинки — красно-золотистая... у нас и в детском саду такой не было!

Чёрные рыбки, жёлтые, зеленоватые или совсем прозрачные так и шныряют весёлыми стайками.

Забавляясь аквариумом, ребята словно забыли, где мы находимся.

— Ну, теперь на завод пойдём, — сказал Алёша. — Ты же обещал.

— А мы, — говорю, — уже пришли. Ведь только что вам вывеску показывал над воротами: «Электросила». Ай-яй, повнимательнее надо, ребята. Ведь мы на заводе.

— На заво-оде?.. — протянул Саша, делая большие глаза. — Но ведь на заводах дымно и...

— И грязно, хотел ты сказать?.. Но это было когда-то. А сейчас — посмотри хотя бы на пол здесь, в цехе.

Саша глянул вниз перед собой и покраснел: на вымытом чистом полу стоит мальчик в грязных башмаках, поленился дома взять сапожную щётку. Теперь он старается спрятать ногу за ногу.

Я делаю вид, что не замечаю, как ему стыдно. Зачем обижать? Он и сам не рад своей оплошности.

Беру мальчиков за руки.

— Теперь, — говорю, — идёмте к Русакову.



Мы шагаем по цеху.

Слышится мерное постукивание, шелест, гудение... Звуки всё

отчётливее: мы приближаемся к станкам.

Мальчики рвутся вперёд, но я придерживаю их за руки.

— Осмотритесь, — говорю, — вы же в первый раз на заводе. А то бегом, бегом — ничего и не запомните.

Остановились.

Объясняю ребятам, какие перед нами станки. Вот этот, длинный и низкий, — токарный; этот — у него будто воротца над корпусом — строгальный. Тот — в виде башенки — фрезерный. А подальше — сверловочный...

— А они красивые... — говорит Алёша, склонив голову набок и прищуриваясь на корпуса станков. — Немножко зеленоватые, немножко голубоватые, немножко желтоватые...

Подсказываю:

— Это салатный цвет.

И объясняю, что красить так станки посоветовали наши учёные. Рабочим понравилось. В самом деле: цвет ласковый, приятно смотреть, не утомляются глаза. А глаза не устают — тут и работа спорится.

У станков рабочие. Каждый делает своё дело.

Алёша потянул меня за руку. Шепчет:

— Который из них Русаков?

Я вглядываюсь в лица рабочих. Стараюсь узнать Николая Николаевича.

Вспоминаю, как во время войны я услышал о подвиге радиста. А потом и самого увидел. Было это на каком-то — уже не помню — совещании, где лучшие люди армии делились боевым опытом... Узнай-ка человека после короткой и единственной встречи! Да ещё через четверть века...

Я за это время состарился, но ведь и он не остался молодым: лицо уже не то.

— Ну, который же? — настаивает Алёша. — Покажи!

А я могу только плечами пожать.

— Тогда я сам! — срывается он с места. — Который высокий и у которого волосы как у меня... Можно?

— Только не беги, спокойнее.

— И я! — попросился Саша.

Алёша подошёл к станкам с левого края, Саша — с правого.

Стою. Жду, что принесёт эта ребячья разведка.

Первым обратно примчался Саша. Вприпрыжку — да на радостях и остановиться не в силах.

— А там, — кричит, — кнопки! На станках кнопки! Нажмут, и — джик! — режет железо. Нажмут — и стоп станок! Кнопки, кнопки, кнопки, кнопки!

Едва успокоил его.

— Ну, отдышался? — говорю. — Теперь слушай.

Всякая вещь хороша на своём месте. В далёкую старину, ты знаешь, заводами в России владели капиталисты.

— Это было, — вставил Саша, — до Октябрьской революции.

— Совершенно верно. Станки в ту пору были грубые, неуклюжие и опасные для работы. Чтобы привести такой станок в действие, рабочий наваливался на рычаг. А рычаг — как лом или как оглобля. Навалится, толкнёт что есть силы... Ух!.. Наконец-то загремел, забрякал станок.

Надрывались рабочие у станков, делались калеками.

А капиталист их за людей не считал. «Изувечился? Сам виноват — иди прочь с завода!»

И ставил к станку другого.

Капиталисту и станка было не жалко: «Пусть себе гремит, пока не развалится. Так-то выгоднее, чем покупать новый!»

Я беру Сашу за плечи и поворачиваю к станкам.

— А погляди, — говорю, — на наши. Удобные, красивые. И у рабочего под руками, конечно, кнопки. Но эти кнопки не заменяют человека, а помогают ему в труде.

Так мы беседовали с Сашей, пока не прибежал из разведки Алёша.

Радостный и взволнованный, он объявил:

— Узнал про Русакова! Он не здесь, а вон там работает, где домашние растения.

А ВЫ НЕ БОДАЕТЕСЬ?

Подходим.

У окна красивые пальмы раскинули свои ветви. Однако где же станок?

Мальчишки растерянно смотрят на меня. Они ожидали, что увидят среди пальм самый главный, удивительный станок. Ведь работает здесь член правительства, Герой Социалистического Труда!.. А тут и вовсе никаких станков!

Стоит стол. Самый обыкновенный, даже некрашенный.

Да и на столе ничего интересного: молоток, напильник, железки...

Высокий человек, стоявший перед столом, обернулся... Он! Теперь я узнал Русакова.

Николай Николаевич кивнул приветливо ребятам, а на меня посмотрел выжидающе: мол, что за люди, зачем пришли?

Алёша и Саша на приветствие тоже кивнули — мальчики они воспитанные, — но тут же, огорчённые, отвернулись к окну.

Я шепнул: «Не страдайте, ребята, наберитесь терпения», — а сам к Русакову.

Напомнил про войну, сказал, что знал его ещё прославленным радистом, — и мы крепко, по-солдатски, пожали друг другу руки.

— А это кто? — Он показал на мальчиков. — Буками на меня глядят... А они не бодаются?

Страдальцы мои прыснули со смеху.

— Хотим, — говорю, — Николай Николаевич, познакомиться с вашим мастерством.

— А, экскурсия! — Он взглянул на часы. — Занят, конечно... Но юным экскурсантам отказать не могу.

Русаков отложил инструмент, которым работал, и стал вытирать руки ветошью. Это толстая, но очень мягкая тряпка.

Дал по лоскутку ветоши ребятам. Те тоже вытерли руки и спрятали свои ветошки на память.

Николай Николаевич, видя это, улыбнулся.

— Ну, как, — спрашивает, — теперь готовы разговаривать?

— Готовы!

— В таком случае скажите, что вы знаете о Волховстрое. Слыхали про такой?

Алёша быстро взглянул на меня. Я кивнул.

— Знаем, — ответил он твёрдо. — Дедушка рассказывал. Это недалеко от Ленинграда. На реке Волхов. Большая-большая электростанция. Самая первая советская.

Саша добавил:

— Там водопад устроили, чтобы крутились турбины. Это такие большие колёса.

— Всё это правильно, — согласился Русаков. — Но главного не сказали. Чьими же заботами был создан Волховстрой?

— Ленин... Это Ленина забота! — воскликнул Алёша, опережая приятеля.

— Правильно, — опять сказал Русаков. — Но для Волховстроя кроме турбин требовались электрические машины. Иначе не получишь тока. Их

изготовил наш завод «Электросила».

Русаков продолжал:

— Никогда ещё в России не делали таких больших и сложных машин. А Владимир Ильич: «Не робейте, товарищи. Зимний штурмовали? Капиталистов изгнали?.. Уверен, что сумеете и невиданные машины построить!» И построили. Без капиталистов. Своим умом. На удивление всему миру. — Николай Николаевич улыбнулся мальчикам: — Вот на каком вы заводе... Знаменитый завод. Теперь из разных стран приезжают, чтобы купить электрические генераторы с маркой «СССР. «Электросила». — И добавил: — А станки какие у нас, а оборудование... Это же чудо техники!

Мальчики переглянулись. В недоумении пожали плечами и опять уставились на некрашенный стол.

— А почему вас обижают? — сказал Саша. — Даже станка вам не дали. Там везде кнопки, а у вас?

Русаков, смеясь, перебил:

— И у меня кнопки! — Он был в комбинезоне и показал на свои большие карманы. — Смотри: вот тут вместо пуговицы кнопка и тут кнопка. — Посмеялся и сказал: — Но шутки в сторону. — Он стал серьёзным. — Запомните, ребята: без этого простого стола — он называется верстак, — без молотка, зубила, напильников и без этих вот рук слесаря-инструментальщика не сделать ни одной на свете машины. Ни электрической, ни паровой, ни автомобиля, ни велосипеда, ни мясорубки, ни детского волчка...

Саша вынул авторучку. Кажется, хотел что-то возразить.

А Русаков:

— Школьная авторучка! И она рождается на таком же простом столе-верстаке. Как и пёрышко к ней. — Тут Русаков кивнул мне: — Давайте-ка, дедушка, внучат поближе к верстаку.

Я поставил обоих на подвернувшийся под руку ящик, а Русаков разрешил им облокотиться о верстак.

— Видно теперь, ребята? Ну, смотрите внимательно. Вот это моё главное устройство. — И он провёл руками по двум железным горбикам.

— Это тиски, — сказал Алёша. — В школе тоже есть. Только нас к ним ещё не подпускают. Они для старшеклассников.

Русаков продолжал:

— Смотрите дальше. Выбираю нужную мне стальную плашку и зажимаю в тиски... Вот так — накрепко, чтобы не шелохнулась плашка. Теперь можно работать. — И он провёл по плашке напильником. — Начинаю, ребята, готовить штамп.

Русаков поднял глаза на меня:

— Как бы это объяснить ребятишкам: «штамп»?

Я пришёл Николаю Николаевичу на выручку.

Напомнил мальчишкам, как они малышами возились в ящике-песочнице. Под руками формочки — деревянные, пластмассовые. Набьёшь формочку сырым песком, опрокинешь на скамейку — получается кулич.

Опять набиваешь формочку. Опрокинешь — второй кулич.

И пошёл ставить кулич за куличом!.. Сколько их? И не пересчитать.

Но все куличи одинаковые, если из одной формочки...

— Уже понятно! — прервали меня мальчики. — Штамп — это как формочка. — И к Николаю Николаевичу: — А чем вы свою формочку набиваете? Не песком же?

— Какие догадливые! — шуткой на шутку ответил Русаков. — Нет, не песком. На штамп кладут кусок раскалённого, насквозь красного и оттого мягкого металла. Но рукой его не вдавишь в углубление. Нужен пресс. Раз-два, надавил — и получается деталь, как ваш кулич из формочки. А там только кнопку нажимай. «Тук-тук-тук-тук...» — выдаёт пресс деталь за деталью.

Ребята узнали от Русакова, что инструментальщик готовит много различных штампов. Ведь детали требуются и большие и маленькие, и такого фасона и этакого.

Из этих-то деталей и собирают на заводе гигантские электрические машины.

У ВЕРСТАКА

Мальчики раскраснелись. Глаза блестят. И я понимаю их радость: беседует с ними знаменитый инструментальщик, и не о пустяках болтает, как иные взрослые с детьми. Николай Николаевич знакомит их со своим мастерством.

Сейчас всё внимание ребят на тисках, в которых закреплена плашка.

Плашка ещё не штамп, пока лишь гладкий кусок стали.

Но Русаков у верстака. Он водит напильником по металлу, с силой нажимает на него: «Шарп... шарп!..» В то же время зорко поглядывает на чертёж, чтобы не ошибиться, не сделать неверного движения.

Тёмные его волосы, расчёсанные на косо́й прорбор, растрепались, попадали на лоб. На верхней губе проступили капельки пота...

А мальчики, как замороженные, смотрят на его руки. Происходит удивительное. Руки начинают серебриться... Всё больше, больше — кажется, вот-вот станут совсем серебряными.

Но Русаков останавливается, чтобы передохнуть. Напильник отложен — руки вытирает ветошкой. И они уже не серебряные... Это всего лишь пыль была на руках, металлическая пыль, которую сдирал с плашки напильник.

Кинул Русаков ветошку, достал носовой платок и принялся вытирать разгорячённое лицо и шею.

Утомился. Мальчикам стало его жалко.

— Николай Николаевич! — сказал Алёша. — Зачем же это... Сталь пилить руками! Вон как вам трудно!

— Трудновато, — согласился Русаков.

— А вы станок себе попросите! — посоветовал Саша.— Вам какой хотите дадут. Самый лучший!

К удивлению мальчиков, Русаков объявил:

— А одного мне мало. Хочу, чтобы служили мне и токарный, и фрезерный, и строгальный, и сверловочный!

— Так много? — вырвалось у Саши.

— А я жадный! — Русаков рассмеялся и сказал уже серьёзно: — Вон у нас в цехе станки. Посмотрите. Все мои помощники.

Мальчики кивнули. Станки салатного цвета; там они уже побывали.

Но оставалось непонятным, как это столько станков помогают одному человеку.

Русаков стал объяснять.

— Вот тут, — говорит, — на плашке, согласно чертежу, должна быть канавка. И довольно глубокая. Вручную мне её и за полдня не пропилить. Но есть строгальный станок...

С этими словами Николай Николаевич развинтил тиски. Плашку взяли на станок — и через несколько минут канавка была готова.

Ребята потянулись к плашке.

— А можно руками попробовать?

— Попробуйте.

— Какая ровная канавка... И тёпленькая!

Русаков отправил плашку в новое путешествие: на фрезерный станок.

Теперь появился на плашке как бы маленький колодец с крохотным отверстием.

— Заметьте, — сказал Николай Николаевич, — отверстие круглое. Так делает станок. А по чертежу надо квадратное. Значит?..

Он подмигнул ребятам и пошёл к умывальнику.

Долго и старательно мыл руки.

— ...Значит, — закончил он, — от ручной работы не уйти. Да ещё посмотрите, какой мелкой.

И тут началось самое интересное.

Русаков разложил инструмент. Кроме напильников мальчики увидели какие-то лопаточки, шильца, совочки... Будто блестящий веер засиял на верстаке.

Из этого веера Николай Николаевич стал брать то одно, то другое.

Но даже не взглянет перед собой. Каждый инструмент на своём месте — словно сам прыгает в протянутую руку.

Только и поднимет глаза — чтобы свериться с чертежом.

От всего этого работа у Николая Николаевича пошла быстро-быстро.

Иные инструменты совсем крохотные — из-за пальцев рабочего и не разглядеть, что они там делают... И мальчики (я улавливаю их шёпот) уже не пальцы инструментальщика видят перед собой: им представляется, что это сказочные гномы — ловкие и проворные — за добычей своей руды.

Временами Николай Николаевич, нацеливаясь инструментом в отверстие колодца, придерживает дыхание.

Замирают и мальчики. Они уже знают: чуть царапнешь, вводя инструмент в глубину, и квадрат может быть испорчен...

— Дед у вас какой бритвой бреется? — неожиданно спросил Николай Николаевич, не прерывая работы.

Алёша взглянул на меня. Я улыбнулся: мол, отвечай.

— А он не признаёт безопасной. У него бритва как сабля.

— А как он точит свою саблю? Ты видел?

— Ага. На брусочке. И поливает маслом. Чтобы ни- ни... никакой зазубринки. Даже невидимой.

Николай Николаевич кивнул.

— Вот и я, — сказал он, — должен закончить маленький колодец без зазубрин внутри. У вас масло — а у меня медный купорос. — Он наклонил бутылочку и пустил в отверстие колодца несколько зелёных капель. — Теперь, — продолжал он, — беру вот этот напильничек, называется «бархатный»...

А напильничек-то, глядят ребята, чуть потолще иголки. Насечку на нём и не рассмотришь — глаза заслезятся.

Мальчики следят за руками инструментальщика. Ждут...

Однако бархатный напильник не успел опуститься в колодец.

Русакова окликнули.

По цеху быстро шёл человек в пиджаке и галстуке. В руках у него был свёрнутый в трубку чертёж. На ходу, кивком головы он здоровался с рабочими.

Не дойдя до верстака, круто остановился и подозвал Русакова.

Между ними завязался разговор. Но и к нам долетали беспокойные слова.

— В Индию ещё не отправили? — с удивлением сказал Русаков. — Вот так раз!

Вошедший загорячился:

— Да готова машина, совершенно готова! Но на испытании застопорилась. Пришлось забраковать одну из деталей. Совсем по-новому надо её сделать, вот, глядите! — И он развернул перед Русаковым чертёж.

Николай Николаевич заинтересовался чертежом, принялся его разглядывать.

Потом вздохнул и показал в сторону верстака:

— Но у меня ещё своя работа не закончена...

— Отложите! — перебил вошедший. — Сейчас самое главное для нас — отправить машину в Индию!

Русаков пожал плечами:

— Отложить, товарищ директор, недолго. Но ведь есть у нас инструментальщики и посвободнее меня. А я терпеть не могу оставлять работу незаконченной.

Директор завода перебил:

— И слышать не хочу! Никто, кроме вас. Штамп надо сделать за десять дней. Часа не могу прибавить!

Русаков даже попятился, изумлённый:

— Что вы... Такая сложная деталь... Нет, это невозможно.

— Не верю, — настаивал директор, — не верю. Для вас, Николай Николаевич, нет невозможного. Руки у вас золотые!

Тут я снял своих мальчиков с подставки. Шепнул им: «Николаю Николаевичу теперь не до нас...»

И мы ушли с завода.



НАШИ ТРЕВОГИ

Вот мы и дома.

Прошёл день — мальчики возвратились из школы.

И сразу ко мне:

— А что дядя Русаков? Так и оставил нашу плашку? А Индия — это важно?

Я порылся у себя в записной книжке.

— Вечером, — говорю, — узнаем, как у него дела. Вот его телефон.

Застал Русакова дома. Он отдыхал после работы, но всё же охотно взял трубку и на все мои вопросы ответил.

Про плашку сказал так: «После вас, в тот же вечер, доделал её и сдал куда следует. — Спасибо, — говорит, — Алёше и Саше, трудолюбивые ребята, всем интересуются. В их, — говорит, — компании мне и работалось веселее».

— А ещё что сказал Русаков? — заинтересовался Саша. — Отбился он от директора? Вот смешной! За десять дней чтоб... Я бы отбился...

— Нет, — говорю, — не отбился. Николай Николаевич думает немножко иначе, чем ты. Чертёж индийской детали он взял домой. Теперь сидит над ним и раздумывает, как бы невозможное сделать возможным...

Алёша захлопал в ладоши:

— Значит, за десять дней надеется!

Ещё день прошёл.

Наступил вечер. Саша и Алёша опять тянут меня к телефону.

Не хотелось мне беспокоить уставшего человека — да разве от мальчишек отвяжешься? Позвонил, узнал, что делается на заводе.



Объявляю ребятам:

— На десять дней Русаков не согласился.

Тут уже Саша обрадовался:

— Ага, по-моему выходит, по-моему! Там не десять, а, наверно, двадцать надо!

— Да, — снова говорю я, — на десять дней не согласился. Изучил чертёж и обнаружил, что штамп можно сделать быстрее, не за десять, а за девять дней с половиной.

Саша от удивления только рот разинул. Впрочем, и Алёша не сумел

произнести ни слова.

Я продолжаю:

— Суть в том, что Николай Николаевич знает, что такое Индия. Бывал там как депутат Верховного Совета. Ведь наше Советское правительство крепит дружбу со всеми народами. Теперь послушайте, что нашего депутата там глубоко опечалило.

И я рассказал ребятам о бедах и несчastьях этой великой страны. В Индии плодородная земля. Щедрое солнце, яркое голубое небо. Но редко выпадает дождь. Из-за этого чуть не каждый год у крестьян гибнут посевы. Одно спасение: надо поднять воду из рек и пустить её ручейками на поля. А это под силу только крупным машинам...

— Значит, нужны электростанции! — подхватил мой рассказ Алёша. — И они обратились к нам, на завод «Электросила». Потому что в Индии знают, что мы им поможем... Всё ясно!

Вставил слово и Саша. Но у него свои мысли:

— А как, скажите, пожалуйста, Русаков убавил полдня? Даже непонятно. Спросить бы его по телефону.

— А разве я не сказал? Эх... — посетовал я на стариковскую забывчивость. — Николай Николаевич, — говорю, — пошёл на очень смелый шаг. Готовя штамп, инструментальщик — сами видели — то и дело заглядывает в чертёж. Казалось бы, пустяковая задержка в работе: минута-другая — есть о чём говорить! Но штамп для детали в индийскую машину особенно сложен, и — как подсчитал Русаков — на этих минутках за десять дней он потеряет полдня!

Нет, такого Николай Николаевич допустить не мог.

А как быть?

Заучить чертёж — иного не придумаешь. И слесарь-инструментальщик Русаков усилием воли заставил себя это сделать.

Был чертёж на листе бумаги: сложный — из густой сетки линий, со множеством цифр. Теперь чертёж как бы отпечатался в памяти Николая Николаевича.

Вечерок Русаков просидел над чертежом.

А утром, придя на завод, объявил:

— Десять дней мне не надо. Вырежу штамп за девять с половиной.

ОН ЗАПЕВАЕТ ПЕСНЮ

Это было утро вторника.

Потом наступил день, Алёша пришёл из школы — и сразу к календарю, который у нас на стене.

Постоял перед календарём, потоптался. Протягивает руку к листку:

— Уже можно сорвать?

— Что, — говорю, — за спешка? Вечером сорвёшь, как всегда.

А сам догадываюсь, что у мальчишки на уме. Хочется ему поскорее начать счёт заводским дням; но зачем же портить календарь?

Вечером пришёл Саша, и друзья, сорвав листок, припрятали его со словами:

— Первый день работы у Русакова кончился. Полезай, вторник, в коробку!

Но мальчишкам не терпелось заглянуть и дальше в календарь.

Тесня друг друга лбами, они приподнимали листочки.

— Среда... четверг... пятница — это уже четыре дня. Суббота и воскресенье — выходные. Дальше — понедельник, опять вторник, среда...

Наконец отметили красным крестиком листок, на котором кончатся девять дней с половиной.

— Деда, мы его поздравим, правда?

— А подарки за это делают?

— Лучший, — отвечаю, — подарок для Николай Николаевича — это не мешать ему работать. И не беспокоить его, когда отдыхает... Согласны?

— Согласны, — сказали мальчишки и потащили меня к телефону. Принялись уговаривать: — Ну, только ещё разочек... Ну, пожалуйста... И больше не будем звонить...

— Уговор?

— Уговор.

Оставалось взять трубку телефона.

Но то, что я услышал от Русакова, поразило меня.

— Что? Что?.. Ещё на день убавили — да мыслимо ли это? Ах, это уже станочники? Их заслуга?..

Николай Николаевич стал мне объяснять, что станочники, посоветовавшись с учёными, прибавили скорости станкам, кроме того... Но я уже его не слышал. Мешали мальчишки. Словно ошалели от радости. Услышав про восемь с половиной, запрыгали, затопали, как козлы...

Так и не дали договорить по телефону.

А Николай Николаевич:

— Извините, некогда... Спешу!

— Куда же? — удивился я. — Сразу после работы, без отдыха, да ещё

глядя на ночь?

А он, смеясь:

— Песни петь!

На этом телефонный разговор прервался.

Пришла и кончилась среда.

Мальчики сорвали ещё листок календаря.

Потом долго вертели у телефонного аппарата. Но я сделал вид, что не замечаю их нетерпения.

Кончилось тем, что приятели посетовали на свою горькую ребячью жизнь, повздохали — и отправились спать.

Наступил четверг. Вечером Алёша и Саша сорвали листок календаря, третий по счёту.

Нетерпение ребят нарастало. Да я и сам рад был бы узнать, что там, у Русакова, — геройское ведь дело начал!

Но уговор: не беспокоить человека. Так тому и быть.

Наступила пятница.

Вечером мальчики, уныло волоча ноги, подошли к календарю.

Дивился я на них: ведь согласились со мной, что нехорошо надоедать Николаю Николаевичу телефонными звонками, а теперь, глядите, на меня же и сердятся... Да, ладно, не обижаться же деду на внучат!

Протянули мальчики руки, чтобы сорвать четвёртый по счёту листок календаря, но тут зазвонил телефон.

Ребята замерли в ожидании.

Я схватил трубку.



Не сразу узнал я Русакова. Он пропел: «Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни...»

Только после этого поздоровался.

— Хорошая, — говорю, — песня. Вижу, что вы в добром здравии, Николай Николаевич!

А он опять поёт. Пропел мне из песни последний куплет: «...И на Тихом океане свой закончили поход...» Помолчал, словно ожидая, не скажу ли я ещё чего-нибудь. И опять пропел эти слова — да настойчиво так: «...свой закончили пох-од!»

Закончили?.. И у меня мелькнула мысль: «Да ведь это он о себе...»

— Николай Николаевич! — закричал я в трубку. — Верить ли? Это выше моего понимания. Прошло всего четыре дня...

— И штамп готов, — сказал Николай Николаевич. — Да и новая деталь уже поставлена на место. Да и машину уже упаковывают. Сегодня отправят в Индию.

Ошеломил он меня. Не найду, что и сказать.

— Наверно, — говорю, — здорово устали?

— А об этом, — отвечает, — даже и не думается... Все четыре дня не отходил от верстака — да и ночей прихватил. Эх, дружно поработали, с песнями!

Потом он сказал так:

— А интересно получается! Был я радистом и понял в бою: неспроста ключом постукиваешь — ответ держишь за успех полка и за жизнь

товарищей. Стал инструментальщиком — и опять, чувствую, я же в ответе! Только теперь уже не за полк и солдат своих, а за целую страну, народ которой хочет победить нищету и голод. И подумалось мне, — сказал Русаков, — а ведь я сам лично отвечаю и за мир на земле и за счастье всех людей. — Он рассмеялся. — Вот, — говорит, — какими делами ворочу! А поглядеть на меня — кто я такой? Да простой рабочий!

Я дружески поправил его.

— Извините, — говорю, — Николай Николаевич, но вы не простой рабочий. А советский. Вы — гражданин великой страны Ленина.

И в этом вся суть.

ЗНАМЯ ЛЕНИНГРАДА

Утром 7 Ноября мы сидим перед телевизором. На душе светло, празднично. Мальчики прикололи к рубашкам свои октябрятские значки.

На экране — Дворцовая площадь. Зимний в дымке осеннего тумана. Полные зрителей трибуны.

Только что закончился парад. Площадь опустела и от этого кажется особенно длинной и широкой.

В ожидании демонстрации, которая всегда очень нарядна, сидим — переговариваемся.

Крепко запомнилось мальчикам знакомство с Русаковым, и они хотят узнать о нём ещё и ещё.

Вот и сейчас Алёша деловито наморщил лоб и спросил:

— А как это всё-таки у него получилось — что золотые руки?

— Как у всех, — ответил я. — Сначала была школа, уроки труда...

— Ну, хорошо, пусть уроки труда... — Алёша сказал это с таким выражением, словно пришлось проглотить горькую пилюлю. — А дальше как было?

— А дальше, — говорю, — Евдокия Климентьевна, его мама, свела сына к себе на завод. Она была работницей «Электросилы».

Алёша не отступался:

— А потом?

— На заводе, — говорю, — парнишка сказал, что хочет стать слесарем.

— А почему слесарем? А не фрезеровщиком, не токарем, не строгальщиком... почему?

Я сказал то, что знал от Николая Николаевича. Слесарем был его отец. Понемножку и маленького сына подпускал к тискам. Так что Коля Русаков, идя с матерью на завод, уже знал, чего хочет. Да и память отца, который рано умер, хотелось мальчику уважить...

Между тем Октябрьский праздник продолжался.

Зазвучал оркестр — и мы все трое опять повернулись к экрану телевизора.

На площадь вступали колонны рабочих.

Заколыхалось и развернулось на ветру знамя Ленинграда. На бархатном, с золотым шитьём полотнище красовались четыре ордена и звёздочка города-героя.

Наш город — ветеран гражданской войны, герой Великой Отечественной и в то же время — неутомимый труженик. Боевой его подвиг и трудовая доблесть и отмечены высокими правительственными наградами.

Знаменем недолго пришлось любоваться: пронесли мимо.

Но вот оно вновь на экране.

Теперь знаменосец шёл как бы прямо на нас. Через плечо у него — широкая лента.

Красиво и торжественно.

Не берусь сказать, кто из нас первым разглядел знаменосца: Алёша, Саша или я. Воскликнули в один голос:

— Да это же дядя Русаков! Николай Николаевич! Он, он... Ему доверена честь возглавить колонны, прошагать со знаменем Ленинграда.

И мальчики, повскакав, замахали перед экраном руками.

— Мы здесь! — кричали они. — Николай Николаевич, мы здесь, посмотрите! Вот Сашка, а вот я — Алёша! Видите, видите?

Русаков, конечно, не мог нас ни увидеть, ни услышать. Так уж устроен телевизор.

Но мальчики, увлечшись, забыли об этом.

— Увидел нас, увидел! — обрадовались они. — С праздником вас, Николай Николаевич!

Я не стал их разочаровывать.

«Пусть, — думал я, — техника ещё не во всём совершенна. Но разве это может помешать настоящей дружбе?»

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)